

Морской волк

Автор:

Джек Лондон

Морской волк

Джек Лондон

Увлекательный, напряженный приключенческий роман. Самое яркое из крупных произведений Джека Лондона, вошедшее в золотой фонд мировой беллетристики, не единожды экранизированное как на Западе, так и в нашей стране. Меняются времена, проходят десятилетия – но и сейчас, более века спустя после выхода романа, читателя не просто захватывает, а завораживает история смертельного противостояния чудом выжившего при кораблекрушении молодого писателя Хэмфри и его невольного спасителя и беспощадного врага – бесстрашного и жестокого капитана китобойного судна Волка Ларсена, полупирата, одержимого комплексом сверхчеловека...

Джек Лондон

Морской волк

Глава I

Не знаю, как и с чего начать. Иногда, в шутку, обвиняю во всем случившемся Чарли Фэрасета. В долине Милл, под сенью горы Тамальпай, у него была дача, но он приезжал туда только зимой и отдыхал за чтением Ницше и Шопенгауэра. А летом он предпочитал выпариваться в пыльной духоте города, надрываясь от работы.

Если бы не моя привычка приезжать к нему каждую субботу в полдень и оставаться у него до утра следующего понедельника, то это чрезвычайное утро январского понедельника не застало бы меня в волнах бухты Сан-Франциско.

И не потому это произошло, что я сел на плохое судно; нет, «Мартинес» был новый парходик и совершал всего четвертый или пятый рейс между Саусалито и Сан-Франциско. Опасность таилась в густом тумане, который обволакивал бухту и о коварстве которого я как сухопутный житель мало знал.

Вспоминаю спокойную радость, с какой я уселся на верхней палубе, у лоцманской рубки[1 - Каюта на верхней палубе.], и как туман захватил мое воображение своей таинственностью.

Дул свежий морской ветер, и некоторое время я был один в сырой мгле, впрочем, не совсем один, так как я смутно чувствовал присутствие лоцмана и того, кого я принимал за капитана, в стеклянном домике над моей головой.

Вспоминаю, как я думал тогда об удобстве разделения труда, делавшем ненужным для меня изучение туманов, ветров, течений и всей морской науки, если я хочу навестить друга, живущего по другую сторону залива. «Хорошо, что люди разделяются по специальностям», – думал я в полудремоте. Познания лоцмана и капитана избавляли от забот несколько тысяч людей, которые знали о море и о мореплавании не больше, чем я. С другой стороны, вместо того чтобы расходовать свою энергию на изучение множества вещей, я мог сосредоточить ее на немногом и более важном, например, на анализе вопроса: какое место занимает писатель Эдгар По в американской литературе? – кстати, тема моей статьи в последнем номере журнала «Атлантик».

Когда, садясь на парход, я проходил через каюту, с удовольствием заметил полного человека, читавшего «Атлантик», открытый как раз на моей статье. Тут опять было разделение труда: специальные познания лоцмана и капитана позволяли полному джентльмену, пока его везли из Саусалито в Сан-Франциско, знакомиться с моими специальными познаниями о писателе По.

Какой-то краснолицый пассажир, громко захлопнув за собой дверь каюты и выйдя на палубу, прервал мои размышления, и я успел только отметить у себя в мозгу тему для будущей статьи под названием: «Необходимость свободы. Слово в защиту художника».

Краснолицый человек бросил взгляд на будку лоцмана, посмотрел пристально на туман, проковылял, громко топая, взад и вперед по палубе (у него были, по видимому, искусственные конечности) и стал рядом со мной, широко расставив ноги, с выражением явного удовольствия на лице. Я не ошибся, когда решил, что вся его жизнь протекла на море.

– Этакая пакостная погода поневоле делает людей седыми раньше времени, – сказал он, кивнув на лоцмана, стоявшего в своей будке.

– А я не думал, что тут требуется особое напряжение, – ответил я, – кажется, дело просто как дважды два четыре. Они знают направление по компасу, расстояние и скорость. Все это точно, как математика.

– Направление! – возразил он. – Просто, как дважды два; точно, как математика! – Он укрепился потверже на ногах и откинулся назад, чтобы посмотреть на меня в упор.

– А что вы думаете насчет этого течения, которое мчится теперь через Золотые Ворота? Знакома ли вам сила отлива? – спросил он. – Поглядите, как быстро относит шхуну. Слышите, как звонит буй[2 - Поплавки из дерева, железа или меди сферической или цилиндрической формы. Буи, ограждающие фарватер, снабжаются колоколом.], а мы идем прямо на него. Смотрите, им приходится менять курс.

Из тумана неся заунывный колокольный звон, и я видел, как лоцман быстро поворачивал штурвал[3 - Колесо с ручками для вращения румпеля – рычага, поворачивающего руль.]. Колокол, который, казалось, был где-то прямо перед нами, звонил теперь сбоку. Наш собственный гудок хрипло гудел, и время от времени доносились до нас из тумана гудки других пароходов.

– Это, должно быть, пассажирский, – сказал вновь пришедший, обратив мое внимание на гудок, донесшийся справа. – А там, слышите? Это говорят в рупор, вероятно, с плоскодонной шхуны. Да, я так и думал! Эй вы, на шхуне! Глядите в оба! Ну, сейчас затрещит какой-нибудь из них.

Невидимое судно издавало гудок за гудком, и рупор звучал, как бы пораженный ужасом.

– А теперь они обмениваются приветствиями и стараются разойтись, – продолжал краснолицый человек, когда встревоженные гудки прекратились.

Его лицо сияло и глаза искрились от возбуждения, когда он переводил на человеческий язык все эти сигналы гудков и сирен.

– А это вот сирена парохода, держащего курс налево. Слышите этого молодца с лягушкой в горле? Это паровая шхуна, насколько я могу судить, ползет против течения.

Пронзительный тонкий свисток, визжа, как будто он взбесился, слышался впереди, очень близко от нас. Зазвучали гонги на «Мартинесе». Наши колеса остановились. Их пульсирующие удары замерли и потом начались вновь. Взвизгивающий свисток, как чирикание сверчка среди рева больших зверей, донесся из тумана сбоку, а затем стал звучать все слабее и слабее.

Я посмотрел на моего собеседника, желая получить разъяснение.

– Это один из дьявольски отчаянных баркасов, – сказал он. – Я даже, пожалуй, желал бы потопить эту скорлупку. От таких-то и бывают разные неприятности. А какая от них польза? Всякий негодяй садится на такой баркас, гонит его и в хвост и в гриву. Отчаянно свистит, желая проскочить среди других, и пищит всему свету, чтоб его сторонились. Сам-то не может уберечь себя. А вы должны смотреть в оба. Уйди с дороги! Это самое элементарное приличие. А они этого как раз и не знают.

Меня развеселил его непонятный гнев, и, пока он возмущенно ковылял взад и вперед, я любовался романтическим туманом. И он действительно был романтичен, этот туман, подобный серому призраку бесконечной тайны, – туман, клубами окутывавший берега. А люди, эти искры, одержимые сумасшедшей тягой к труду, проносились через него на своих стальных и деревянных конях, пронизывая самое сердце его тайны, слепо прокладывая свои пути сквозь невидимое и перекликаясь в беспечной болтовне, в то время как сердца их сжимались от неуверенности и страха. Голос и смех моего спутника вернули меня к действительности. Я тоже шел ощупью и спотыкался, полагая, что с открытыми и ясными глазами иду сквозь тайну.

– Алло! Кто-то пересекает нам путь, – говорил он. – Вы слышите? Идет на всех парах. Идет прямо на нас. Он, верно, еще не слышит нас. Относит ветром.

Свежий бриз дул нам в лицо, и я уже ясно слышал гудок сбоку, несколько впереди нас.

– Пассажирский? – спросил я.

Он кивнул и добавил:

– Не очень-то хочется ему щелкнуться! – Он насмешливо хмыкнул. – И у нас закопошились.

Я взглянул вверх. Капитан высунул голову и плечи из лоцманской будки и пристально всматривался в туман, как будто он мог пронизать его силой воли. Лицо его выражало такое же беспокойство, как и лицо моего спутника, который подошел к перилам и смотрел с напряженным вниманием в сторону невидимой опасности.

Затем все произошло с непостижимой быстротой. Туман вдруг рассеялся, как будто расщепленный клином, и из него вынырнул остов парохода, тянувшего за собою с обеих сторон клочья тумана, точно водоросли на хоботе Левиафана[4 - Левиафан – в древнееврейских и средневековых преданиях демоническое существо, кольцеобразно извивающееся.]. Я увидел лоцманскую будку и человека с белой бородой, высунувшегося из нее. Он был одет в синюю форменную тужурку, и я помню, что он показался мне красивым и спокойным. Его спокойствие при этих обстоятельствах было даже страшным. Он встречал свою судьбу, шел с ней рука об руку, хладнокровно размеряя ее удар. Наклонившись, он смотрел на нас без всякой тревоги, внимательным взглядом, как будто желая определить с точностью то место, где мы должны были столкнуться, и не обратил ровно никакого внимания, когда наш лоцман, бледный от бешенства, прокричал:

– Ну, радуйтесь, вы сделали свое дело!

Вспоминая прошлое, я вижу, что замечание было так верно, что вряд ли можно было ожидать на него возражений.

– Ухватитесь за что-нибудь и повисните, – обратился ко мне краснолицый человек. Вся горячность его исчезла, и он точно заразился сверхъестественным спокойствием.

– Прислушайтесь, как закричат женщины, – продолжал он угрюмо, почти злобно, и мне показалось, что он когда-то уже испытал подобное происшествие.

Пароходы столкнулись раньше, чем я мог последовать его совету. Должно быть, мы получили удар в самый центр, потому что я уже не видел ничего: чужой пароход исчез из круга моего зрения. «Мартинес» круто накренился, а затем раздался треск раздиравшейся обшивки. Я был отброшен навзничь на мокрую палубу и едва успел вскочить на ноги, услышал жалобные вопли женщин. Я уверен, что именно эти неопишуемые, леденящие кровь звуки заразили меня общей паникой. Я вспомнил о спасательном поясе, спрятанном у меня в каюте, но в дверях был встречен и отброшен назад диким потоком мужчин и женщин. Что происходило в течение нескольких следующих минут, я совершенно не мог сообразить, хотя отлично припоминаю, что я стаскивал вниз с верхних перил спасательные круги, а краснолицый пассажир помогал надевать их истерически кричавшим женщинам. Воспоминание об этой картине сохранилось у меня яснее и отчетливее, чем что-либо за всю мою жизнь.

Вот как разыгрывалась сцена, которую я вижу перед собой и до сих пор.

Зубчатые края дыры, образовавшейся в боку каюты, сквозь которую вертящимися клубами врывался серый туман; опустевшие мягкие сиденья, на которых валялись доказательства внезапного бегства: пакеты, ручные саквояжи, зонтики, свертки; полный господин, читавший мою статью, а теперь обмотанный пробкой и парусиной, все с тем же журналом в руках, спрашивающий меня с монотонной настойчивостью, думаю ли я, что есть опасность; краснолицый пассажир, храбро ковыляющий на своих искусственных ногах и набрасывающий спасательные пояса на всех проходящих мимо, и, наконец, бедлам воющих от отчаяния женщин.

Вопль женщин больше всего действовал мне на нервы. То же, по-видимому, угнетало и краснолицего пассажира, потому что передо мной стоит еще и другая картина, которая тоже никогда не изгладится из моей памяти. Толстый господин засовывает журнал в карман своего пальто и странно, как бы с любопытством, озирается по сторонам. Сбившаяся толпа женщин с искаженными бледными лицами и с открытыми ртами кричит, как хор погибших

душ; и краснолицый пассажир, теперь уже с багровым от гнева лицом и с руками, поднятыми над головой, точно он собирался бросать громовые стрелы, кричит:

– Замолчите! Перестаньте же, наконец!

Я помню, что эта сцена вызвала во мне внезапный смех, а в следующее мгновение я понял, что заражаюсь истерикой; эти женщины, полные страха смерти и не желавшие умирать, были мне близки, как мать, как сестры.

И я помню, что вопли, которые они издавали, напомнили мне вдруг свиней под ножом мясника, и сходство это своей яркостью ужаснуло меня. Женщины, способные на самые прекрасные чувства и нежнейшие привязанности, стояли теперь с открытыми ртами и кричали во всю мочь. Они хотели жить, они были беспомощны, как крысы, попавшие в западню, и все они вопили.

Ужас этой сцены выгнал меня на верхнюю палубу. Я почувствовал себя дурно и опустился на скамейку. Смутно видел и слышал я, как люди с воплями проносились мимо меня к спасательным шлюпкам, стараясь их спустить собственными силами. Это было совершенно то самое, что я читал в книгах, когда описывались подобные сцены. Блоки срывались. Все было в неисправности. Удалось спустить одну лодку, но в ней оказалась течь; перегруженная женщинами и детьми, она наполнилась водой и перевернулась. Другую лодку спустили одним концом, а другой застрял на блоке. Никаких следов чужого парохода, бывшего причиной несчастья, не было видно: я слышал, как говорили, что он, во всяком случае, должен выслать за нами свои лодки.

Я спустился на нижнюю палубу. «Мартинес» быстро шел ко дну, и видно было, что конец близок. Многие пассажиры стали бросаться в море через борт. Другие же, в воде, умоляли, чтобы их приняли обратно. Никто не обращал на них внимания. Послышались крики, что мы тонем. Началась паника, которая захватила и меня, и я, с целым потоком других тел, бросился через борт. Как я перелетел через него, я положительно не знаю, хотя и понял в ту же минуту, почему те, кто бросился в воду раньше меня, так сильно желали вернуться наверх. Вода была мучительно холодна. Когда я погрузился в нее, меня точно обожгло огнем, и в то же время холод пронизал меня до мозга костей. Это была как бы схватка со смертью. Я задыхался от острой боли в легких под водой, пока спасательный пояс не вынес меня обратно на поверхность моря. Во рту у меня

был вкус соли, и что-то сжимало мне горло и грудь.

Но самым ужасным был холод. Я чувствовал, что смогу прожить только несколько минут. Люди боролись за жизнь вокруг меня; многие шли ко дну. Я слышал, как они взывали о помощи, и слышал плеск весел. Очевидно, чужой пароход все-таки спустил свои шлюпки. Время шло, и я изумлялся тому, что я все еще жив. В нижней половине тела я не утратил чувствительности, но леденящее онемение обволакивало мое сердце и вползало в него.

Мелкие волны со злобно пенившимися гребешками перекатывались через меня, заливали мне рот и все сильнее вызывали приступы удушья. Звуки вокруг меня становились неясными, хотя я все же услышал последний, полный отчаяния вопль толпы вдали: теперь я знал, что «Мартинес» пошел ко дну. Позже – насколько позже, не знаю – я пришел в себя от объявшего меня ужаса. Я был один. Я не слышал больше криков о помощи. Раздавался только шум волн, фантастически вздымавшихся и мерцавших в тумане. Паника в толпе, объединенной некоторой общностью интересов, не так ужасна, как страх в одиночестве, и такой страх я теперь испытывал. Куда несло меня течение? Краснолицый пассажир говорил, что поток отлива мчится через Золотые Ворота. Значит, меня уносило в открытый океан? А спасательный пояс, в котором я плыл? Разве не мог он каждую минуту лопнуть и развалиться? Я слышал, что пояса делают иногда из простой бумаги и сухого камыша, скоро пропитываются водой и теряют способность держаться на поверхности. А я не мог бы проплыть без него и одного фута. И я был один, несясь куда-то среди серой первобытной стихии. Признаюсь, что мною овладело безумие: я стал громко кричать, как перед этим кричали женщины, и колотил по воде онемевшими руками.

Как долго это продолжалось, я не знаю, ибо подоспело на помощь забытье, от которого остается не больше воспоминаний, чем от тревожного и мучительного сна. Когда я пришел в себя, мне показалось, что прошли целые века. Почти над самой моей головой выплывал из тумана нос какого-то судна, и три треугольных паруса, один над другим, туго вздувались от ветра. Там, где нос разрезал воду, море вскипало пеной и булькало, и казалось, что я нахожусь на самом пути корабля. Я пробовал закричать, но от слабости не мог издать ни единого звука. Нос нырнул вниз, едва не коснувшись меня, и окатил меня потоком воды. Потом длинный черный борт судна начал скользить мимо так близко, что я мог бы прикоснуться к нему рукой. Я старался дотянуться до него, с безумной решимостью вцепиться в дерево своими ногтями, но мои руки были тяжелы и

безжизненны. Снова я попытался кричать, но так же безуспешно, как и в первый раз.

Затем мимо меня пронеслась и корма судна, то опускаясь, то поднимаясь во впадинах между волнами, и я увидел человека, стоящего у штурвала, и другого, который, казалось, ничего не делал и только курил сигару. Я видел, как дым выходил из его рта, в то время как он медленно поворачивал голову и смотрел вверх воды в моем направлении. Это был небрежный, бесцельный взгляд – так смотрит человек в минуты полного покоя, когда его не ждет никакое очередное дело, а мысль живет и работает сама по себе.

Но в этом взгляде были для меня жизнь и смерть. Я видел, что корабль уже готов утонуть в тумане, видел спину матроса, стоявшего у руля, и голову другого человека, медленно поворачивавшегося в мою сторону, видел, как его взгляд упал на воду и случайно коснулся меня. На его лице было такое отсутствующее выражение, точно он был занят какой-то глубокой мыслью, и я боялся, что если глаза его и скользнут надо мной, то все-таки он не увидит меня. Но его взгляд вдруг остановился прямо на мне. Он пристально взгляделся и заметил меня, потому что тотчас же подскочил к штурвалу, оттолкнул рулевого и стал обеими руками вертеть колесо, выкрикивая какую-то команду. Мне показалось, что судно изменило направление, скрываясь в тумане.

Я чувствовал, что теряю сознание, и попытался напрячь всю силу воли, чтобы не поддаться темному забытию, обволакивавшему меня. Немного спустя я расслышал удары весел по воде, раздававшиеся ближе и ближе, и чьи-то восклицания. А потом совсем близко я услышал, как кто-то закричал: «Да какого же черта вы не откликаетесь?» Я понял, что это относится ко мне, но забытие и мрак поглотили меня.

Глава II

Мне казалось, что я качаюсь в величественном ритме мирового пространства. Сверкавшие точки света носились возле меня. Я знал, что это звезды и яркая комета, которые сопровождали мой полет. Когда я достигал предела моего размаха и готовился лететь обратно, раздавались звуки большого гонга. В течение неизмеримого периода, в потоке спокойных столетий, я наслаждался

моим страшным полетом, стараясь постичь его. Но какая-то перемена случилась в моем сне, – я сказал себе, что это, видимо, сон. Размахи становились короче и короче. Меня бросало с раздражающей быстротой. Я едва мог переводить дух, так свирепо меня швыряло по небесам. Гонг гремел все чаще и громче. Я ждал его уже с неопишуемым страхом. Потом мне стало казаться, будто меня тащат по песку, белому, накаленному солнцем. Это доставляло невыносимые мучения. Моя кожа горела, точно ее жгли на огне. Гонг гудел похоронным звоном. Светящиеся точки струились в бесконечном потоке, будто вся звездная система изливалась в пустоту. Я задышался, мучительно ловя воздух, и вдруг открыл глаза. Два человека, стоя на коленях, что-то делали со мной. Могучий ритм, качавший меня туда и сюда, был подъемом и опусканием судна в море во время качки. Страшилищем-гонгом была сковорода, висевшая на стене. Она громыкала и брнчала с каждой встряской судна на волнах. Грубым и раздирающим тело песком оказались жесткие мужские руки, растиравшие мою обнаженную грудь. Я вскрикнул от боли и приподнял голову. Моя грудь была ободранной и красной, и я увидел капельки крови на воспаленной коже.

– Ну, ладно, Ионсон, – сказал один из мужчин. – Разве ты не видишь, как мы ободрали кожу у этого джентльмена?

Человек, которого называли Ионсоном, мужчина тяжелого скандинавского типа, перестал растирать меня и неуклюже поднялся на ноги. Говоривший с ним был, очевидно, истым лондонцем, настоящим «кокней», с милovidными, почти женственными чертами лица. Он, конечно, вместе с молоком матери всосал в себя звуки колоколов церкви Bow[5 - Старинная церковь St. Mary-Bow, или просто Bow-church, в центральной части Лондона – Сити; все, кто родился в квартале возле этой церкви, куда доносится звук ее колоколов, считаются самыми доподлинными лондонцами, которых в Англии в насмешку называют «соспеу»]. Грязный полотняный колпак на голове и грязный мешок, привязанный к его тонким бедрам вместо фартука, говорили о том, что он был поваром на той грязной корабельной кухне, где я пришел в сознание.

– Как вы чувствуете себя, сэ, теперь? – спросил он с искательной улыбкой, которая вырабатывается в ряде поколений, получавших на чай.

Вместо ответа я с трудом сел и с помощью Ионсона попытался встать на ноги. Громыканье и удары сковороды царапали мои нервы. Я не мог собрать свои мысли. Опираясь на деревянную облицовку кухни, – должен признаться, что покрывавший ее слой сала заставил меня крепко стиснуть зубы, – я прошел мимо

ряда кипящих котлов, достиг беспокойной сковороды, отцепил ее и с удовольствием швырнул в угольный ящик.

Повар ухмыльнулся на такое проявление нервности и сунул мне в руки дымящуюся кружку.

– Вот, сэр, – сказал он, – это будет вам на пользу.

В кружке была тошнотворная смесь – корабельный кофе, – но теплота ее оказалась живительной. Глотая варево, поглядывал я на мою ободранную и кровоточившую грудь, затем обратился к скандинавцу:

– Спасибо вам, мистер Ионсон, – сказал я, – но не находите ли вы, что ваши меры были несколько героичны?

Он понял мой упрек скорее по моим движениям, чем из слов, и, подняв свою ладонь, стал ее рассматривать. Вся она была в твердых мозолях. Я провел рукой по роговым выступам, и мои зубы опять сжались, когда я почувствовал их ужасающую жесткость.

– Мое имя Джонсон, а не Ионсон, – сказал он на очень хорошем, хотя и с медлительным выговором, английском языке, с еле слышным акцентом.

В его светло-голубых глазах мелькнул легкий протест, и в них же светились прямотушие и мужественность, сразу расположившие меня в его пользу.

– Благодарю вас, мистер Джонсон, – поправился я и протянул руку для пожатия.

Он поколебался, неловкий и застенчивый, переступил с одной ноги на другую и затем крепко и сердечно пожал мне руку.

– Нет ли у вас какой-нибудь сухой одежды, которую я мог бы надеть? – обратился я к повару.

– Найдется, – ответил он с веселой живостью. – Сейчас я сбегаю вниз и пороюсь в своем приданом, если вы, сэр, конечно, не побрезгуете надеть мои вещи.

Он выскочил из двери кухни или, скорее, выскользнул из нее с кошачьей ловкостью и мягкостью: он скользил бесшумно, точно обмазанный маслом. Эти мягкие движения, как мне пришлось позднее заметить, были наиболее характерным признаком его персоны.

- Где я? - спросил я Джонсона, которого правильно счел за матроса. - Что это за судно, и куда оно идет?

- Мы отошли от Фараллонских островов, идем приблизительно на юго-запад, - ответил он медленно и методически, как будто нащупывая выражения на лучшем английском языке и стараясь не сбиться в порядке моих вопросов. - Шхуна «Призрак» идет за котиками в сторону Японии.

- А кто капитан? Я должен повидаться с ним, как только переоденусь.

Джонсон смутился и принял озабоченный вид. Он не решился отвечать до тех пор, пока не справился со своим словарем и не составил в уме полного ответа.

- Капитан - Волк Ларсен, так его, по крайней мере, все зовут. Я никогда не слышал, чтобы его называли иначе. Но вы разговаривайте с ним поласковее. Не в себе он сегодня. Его помощник...

Но он не окончил. В кухню, точно на коньках, скользнул повар.

- Не убраться ли тебе отсюда поскорее, Ионсон, - сказал он. - Пожалуй, хватит тебя на палубе старик. Не стоит его злить сегодня.

Джонсон послушно направился к двери, подбодрив меня за спиной повара забавно торжественным и несколько зловещим подмигиванием, как бы подчеркивая свое прерванное замечание о том, что мне необходимо вести себя помягче с капитаном.

На руке у повара висело смятое и заношенное облачение довольно гнусного вида, отдававшее каким-то кислым запахом.

- Платье уложили мокрым, сэр, - удостоил он объяснить. - Но как-нибудь обойдетесь, пока я не высушу вашей одежды на огне.

Опираясь на деревянную облицовку, то и дело оступаясь от корабельной качки, я при помощи повара надел грубую шерстяную фуфайку. В ту же минуту тело мое съежилось и заныло от колючего прикосновения. Повар заметил мои невольные подергивания и гримасы и ухмыльнулся.

– Надеюсь, сэр, что вам никогда больше не придется надевать на себя такую одежду. У вас удивительно нежная кожа, нежнее, чем у леди; такой, как у вас, я никогда еще не видал. Я сразу понял, что вы настоящий джентльмен, в первую же минуту, как только увидел вас здесь.

С самого начала он мне не понравился, и, пока он помогал мне одеваться, моя антипатия к нему росла. В его прикосновении было что-то отталкивающее. Я ежился под его руками, мое тело возмущалось. И поэтому, а в особенности из-за запахов от различных горшков, которые кипели и булькали на плите, я спешил как можно скорее выбраться на свежий воздух. К тому же нужно было повидаться с капитаном, чтобы обсудить с ним, каким образом высадиться мне на берег.

Дешевая бумажная рубашка с драным воротом и выцветшей грудью и с чем-то еще, что я принял за старые следы крови, была надета на меня среди непрекращавшегося ни на одну минуту потока извинений и объяснений. Ноги мои оказались в грубых рабочих сапогах, а штаны были бледно-голубыми, полинявшими, причем одна штанина дюймов на десять короче другой. Укороченная штанина заставляла думать, будто дьявол пробовал цапнуть через нее душу повара и поймал тень вместо сущности.

– Кого я должен благодарить за эту любезность? – спросил я, напялив на себя все эти лохмотья. На моей голове красовалась крохотная мальчишеская шапочка, а вместо пиджака была грязная полосатая куртка, оканчивавшаяся выше пояса, с рукавами до локтей.

Повар почтительно выпрямился с искательной улыбкой. Я мог бы поклясться, что он ожидал получить от меня на чай. Впоследствии я убедился, что поза эта бессознательная: то была унаследованная от предков угодливость.

– Магридж, сэр, – расшаркался он, и его женственные черты расплылись в масляной улыбке. – Томас Магридж, сэр, к вашим услугам.

– Хорошо, Томас, – продолжал я, – когда высохнет моя одежда, я вас не забуду.

Мягкий свет разлился по его лицу, и глаза заблестели, точно где-то в глубине его предки шевельнули в нем смутные воспоминания о чаевых, полученных в прежние существования.

– Благодарю вас, сэр, – сказал он почтительно.

Дверь распахнулась бесшумно, он ловко скользнул в сторону, – и я вышел на палубу.

Я все еще чувствовал слабость после продолжительного купания. Порыв ветра налетел на меня, и я, проковыляв по качающейся палубе до угла каюты, уцепился за него, чтобы не упасть. Сильно накренясь, шхуна то опускалась, то поднималась на длинной тихоокеанской волне. Если шхуна шла, как сказал Джонсон, на юго-запад, то ветер дул, по-моему, с юга. Туман исчез, и появилось солнце, сверкавшее на волнующейся поверхности моря. Я поглядел на восток, где, как я знал, находилась Калифорния, но не увидел ничего, кроме низко лежащих пластов тумана, того самого тумана, который, без сомнения, был причиной крушения «Мартинеса» и ввергнул меня в мое теперешнее состояние. К северу, не очень далеко от нас, возвышалась над морем группа голых скал; на одной из них я заметил маяк. На юго-западе, почти в том же направлении, в каком шли и мы, я увидел неясные очертания треугольных парусов какого-то судна.

Закончив обзор горизонта, я перевел глаза на то, что меня окружало вблизи. Моей первой мыслью было, что человек, перенесший крушение и плечом к плечу коснувшийся смерти, заслуживает больше внимания, чем мне оказали здесь. Кроме матроса у рулевого колеса, с любопытством оглядывавшего меня через крышу каюты, никто не обратил на меня никакого внимания.

Казалось, все были заинтересованы тем, что происходило на середине шхуны. Там, на люке, лежал на спине какой-то грузный человек. Он был одет, но рубашка его была разорвана спереди. Однако кожи его не было видно: грудь была почти сплошь покрыта массой черных волос, похожих на мех собаки. Его лицо и шея были скрыты под черной с проседью бородой, которая, вероятно, казалась бы жесткой и окладистой, если бы не была испачкана чем-то клейким и если бы с нее не стекала вода. Глаза его были закрыты, и он, по-видимому,

лежал без сознания; рот был широко открыт, и грудь тяжело поднималась, точно ей не хватало воздуха; дыхание с шумом вырывалось наружу. Один матрос время от времени, методически, точно совершая самое привычное дело, опускал на веревке брезентовое ведро в океан, вытаскивал, перехватывая веревку руками, и выливал воду на лежавшего без движения человека.

Взад и вперед по палубе ходил, свирепо пожевывая кончик сигары, тот самый человек, случайный взор которого спас меня из морской глубины. Рост его был, видимо, пять футов десять дюймов или на полдюйма больше, но он поражал не ростом, а той необыкновенной силой, которую вы чувствовали при первом же взгляде на него. Хотя у него были широкие плечи и высокая грудь, но я не назвал бы его массивным: в нем чувствовалась сила закаленных мускулов и нервов, какую мы склонны приписывать обычно людям сухим и худощавым; а в нем эта сила, благодаря его тяжелому сложению, напоминала что-то вроде силы гориллы. И в то же время по внешности он нисколько не походил на гориллу. Я хочу сказать, что сила его была чем-то вне его физических особенностей. Это была сила, которую мы приписываем древним, упрощенным временам, которую мы привыкли соединять с первобытными существами, обитавшими на деревьях и бывшими нам сродни; это – вольная, свирепая сила, могучая квинтэссенция жизни, первобытная мощь, рождающая движение, та первичная сущность, которая лепит формы жизни, – короче, та живучесть, которая заставляет тело змеи извиваться, когда ее голова отрезана и змея мертва, или которая томится в неуклюжем теле черепахи, заставляя его подскакивать и дрожать от легкого прикосновения пальца.

Такую силу чувствовал я в этом ходившем взад и вперед человеке. Он крепко стоял на ногах, его ступни уверенно ступали по палубе; каждое движение его мускулов, что бы он ни делал, – пожимал ли плечами или плотно сжимал губы, державшие сигару, – было решительным и, казалось, рождалось из чрезмерной и бьющей через край энергии. Однако эта сила, пронизывавшая каждое его движение, была лишь намеком на другую, еще большую силу, которая в нем дремала и только время от времени шевелилась, но могла проснуться в любой момент и быть страшной и стремительной, как бешенство льва или разрушительный порыв бури.

Повар высунул голову из кухонных дверей, ободряюще ухмыльнулся и указал мне пальцем на человека, ходившего взад и вперед по палубе. Мне дано было понять, что это и был капитан, или, на языке повара, «старик», именно то лицо, которое мне нужно было потревожить просьбой высадить меня на берег. Я уже

шагнул вперед, чтобы покончить с тем, что, по моим предположениям, должно было вызвать бурю минут на пять, но в эту минуту страшный пароксизм удушья овладел несчастным, лежавшим на спине. Он сгибался и корчился в конвульсиях. Подбородок с мокрой черной бородой еще больше выпятился кверху, спина изгибалась, а грудь вздувалась в инстинктивном усилии захватить как можно больше воздуха. Кожа под его бородой и на всем теле – я знал это, хотя и не видел – принимала багровый оттенок.

Капитан, или Волк Ларсен, как называли его окружающие, перестал ходить и посмотрел на умиравшего. Эта последняя схватка жизни со смертью была такой жестокой, что матрос прервал обливание водой и с любопытством уставился на умиравшего, в то время как брезентовое ведро наполовину съежилось и вода выливалась из него на палубу. Умирающий, выбив на люке зорю своими каблуками, вытянул ноги и застыл в последнем великом напряжении; только голова еще двигалась из стороны в сторону. Затем мускулы ослабли, голова перестала двигаться, и вздох глубокого успокоения вырвался из его груди. Челюсть отвисла, верхняя губа поднялась и обнажила два ряда зубов, потемневших от табака. Казалось, что черты его лица застыли в дьявольской усмешке над миром, оставленным и одураченным им.

После этого произошла удивительная вещь. Капитан разразился над мертвецом как взрыв грома. Проклятия потоком полились из его уст. И это не были обычные ругательства или неприличные выражения. Каждое слово было кощунством, и таких слов было немало. Они переплетались и трещали как электрические искры. Я никогда не слышал ничего похожего и даже не представлял себе, что могут существовать такие выражения. Так как я был литератор и питал большое пристрастие к ярким образам и сочным выражениям, я мог оценить, как ни один другой слушатель, своеобразную силу, живость и богохульство его метафор. Насколько я мог понять, причиной его гнева было то, что покойник, который был на корабле помощником капитана, устроил на берегу дебош перед самым отходом из Сан-Франциско и потом проявил дурной вкус, скончавшись в самом начале плавания и оставив Ларсена без ближайшего сотрудника.

Бесполезно добавлять, особенно для моих друзей, что я был всем этим очень шокирован. Проклятия и гадкая брань были мне всегда противны. Я почувствовал слабость, головокружение и тошноту. Смерть была для меня связана с торжественностью; она представлялась мне тихой и кроткой в своем процессе и священной по своим обрядам. Но смерть в ее отталкивающем и ужасном виде была для меня явлением, с которым я до тех пор не был знаком.

Оценив всю силу выражений, которые вылетали из уст Волка Ларсена, я был в то же время невыразимо шокирован. Палящий поток брани мог воспламенить даже труп. Я не удивился бы, если бы черная борода вдруг зашевелилась и вспыхнула дымом и пламенем. Но мертвец был невозмутим. Он ухмылялся с сардоническим[б - Сардонический – желчный, злой, язвительный.] юмором, с цинической издевкой и вызовом. Он был хозяином положения.

Глава III

Волк Ларсен так же внезапно прекратил свою брань, как и начал. Он снова зажег сигару и огляделся вокруг. Его глаза случайно остановились на поваре.

– Ну-с, повар? – начал он с мягкостью, которая была холодна как сталь.

– Есть, сэр, – преувеличенно живо ответил повар с успокаивающей и заискивающей услужливостью.

– Не кажется ли тебе, что ты не особенно удобно вытягиваешь шею? Это вредно для здоровья, я слышал. Штурман умер, и мне не хотелось бы потерять и тебя. Тебе нужно, дружок, очень-очень беречь свое здоровье. Понял?

Последнее слово в разящем контрасте с ровным тоном всей речи хлестнуло, как удар кнута. Повар съежился под ним.

– Есть, сэр, – кротко пролепетал он, и его шея, вызвавшая раздражение, исчезла вместе с головой в кухне.

После внезапной головомойки, полученной поваром, остальная команда перестала интересоваться происходившим и погрузилась в ту или другую работу. Однако несколько человек, которые расположились между кухней и люком и которые, казалось, не были матросами, продолжали между собой разговор в пониженном тоне. Как я потом узнал, это были охотники, считавшие себя несравненно выше простых матросов.

– Иогансен! – крикнул Волк Ларсен.

Один матрос послушно выступил вперед.

– Возьми иголку и зашей этого бродягу. Ты найдешь старую парусину в ящике для парусов. Приладь ее.

– А что привязать ему к ногам, сэр? – спросил матрос.

– Ну, там увидим, – ответил Волк Ларсен и возвысил голос: – Эй, повар!

Томас Магридж выскочил из кухни, как Петрушка из ящика.

– Спустись вниз и насыпь мешок угля. А что, товарищи, не найдется ли у кого-нибудь из вас Библии или молитвенника? – было следующим вопросом капитана, на этот раз обращенным к охотникам.

Они отрицательно мотнули головами, а один из них сделал какое-то насмешливое замечание, – я не расслышал его, – вызвавшее общий смех.

Волк Ларсен обратился с тем же вопросом к матросам. По-видимому, Библия и молитвенники были здесь редким явлением, хотя один из матросов вызвался спросить нижнюю вахту и вернулся через минуту с сообщением, что и там этих книг не оказалось.

Капитан пожал плечами.

– Тогда мы попросту перекинем его через борт без всякой болтовни, если только наш поповского вида тунеядец не знает наизусть похоронной службы на море.

И, повернувшись ко мне, он поглядел мне прямо в глаза.

– Вы пастор? Да? – спросил он.

Охотники, их было шестеро, все как один повернулись и стали на меня смотреть. Я мучительно сознавал, что был похож на пугало. Моя наружность вызвала хохот. Хохотали, нисколько не стесняясь присутствия мертвого тела, вытянувшегося перед нами на палубе с саркастической улыбкой. Хохот был

резким, жестоким и откровенным, как и само море. Он исходил от натур с грубыми и притупленными чувствами, не знавших ни мягкости, ни учтивости.

Волк Ларсен не смеялся, хотя в его серых глазах и зажглась слабым огоньком усмешка. Я стоял как раз перед ним и получил первое общее впечатление от него самого, независимо от того потока кощунств, который я только что услышал. Квадратное лицо с крупными, но правильными чертами и строгими линиями, казалось на первый взгляд массивным; но так же, как и от его тела, впечатление массивности вскоре исчезло; рождалась уверенность, что за всем этим лежала в глубине его существа огромная и чрезвычайная духовная сила. Челюсть, подбородок и брови, густые и тяжело нависшие над глазами, – все это сильное и могучее само по себе, – казалось, изобличало в нем необыкновенную мощь духа, которая лежала по ту сторону его физической природы, скрытая от взоров наблюдателя. Нельзя было измерить этот дух, определить его границы или точно классифицировать его и положить на какую-нибудь полочку, рядом с другими, подобными ему типами.

Глаза – а мне судьба предназначила хорошо их изучить – были велики и красивы, они были широко расставлены, как у изваяния, и прикрывались тяжелыми веками под арками густых черных бровей. Цвет глаз был тот обманчивый серый, который никогда не бывает дважды одним и тем же, у которого столько теней и оттенков, как у муара на солнечном свете: он бывает то просто серым, то темным, то светлым и зеленовато-серым, а иногда с оттенком чистой лазури глубокого моря. Это были глаза, которые прятали его душу в тысячах переодеваний и которые только иногда, в редкие минуты, открывались и позволяли заглянуть внутрь, как в мир изумительных приключений. Это были глаза, которые могли скрывать безнадежную мрачность осеннего неба; метать искры и сверкать, как шпага в руках воина; быть холодными, как полярный пейзаж, и сейчас же вновь смягчаться и зажигаться горячим блеском или любовным огнем, который очаровывает и покоряет женщин, заставляя их сдаваться в блаженном упоении самопожертвования.

Но вернемся к рассказу. Я ему ответил, что я, как это ни печально для похоронного обряда, не был пастором, и он тогда резко спросил:

– Чем же вы живете?

Признаюсь, что мне никогда не задавали такого вопроса, и я никогда не размышлял над ним. Я был ошеломлен и, прежде чем успел прийти в себя, глупо

пробормотал:

– Я... я – джентльмен.

Его губы покривились в быстрой усмешке.

– Я работал, я работаю! – закричал я запальчиво, как будто он был моим судьей и мне нужно было перед ним оправдываться; в то же время я сознавал, как глупо с моей стороны обсуждать этот вопрос в такой обстановке.

– Чем вы живете?

В нем было что-то настолько властное и повелительное, что я совсем растерялся, «нарвался на выговор», – как определил бы это состояние Фэрасет, – точно дрожащий ученик перед строгим учителем.

– Кто вас кормит? – был его следующий вопрос.

– У меня есть доходы, – ответил я надменно, и в то же мгновение готов был откусить себе язык. – Все эти вопросы, простите мне мое замечание, не имеют никакого отношения к тому, о чем я хотел бы с вами поговорить.

Но он не обратил внимания на мой протест.

– Кто заработал ваш доход? А? Не вы сами? Я так и думал. Ваш отец. Вы стоите на ногах мертвеца. Вы никогда не стояли на своих собственных ногах. Вы не сможете пробыть один от восхода до восхода солнца и добыть пищу для своего брюха, чтобы набить его три раза в день. Покажите-ка вашу руку!

Дремавшая страшная сила, видимо, шевельнулась в нем, и, раньше чем я успел сообразить, он шагнул вперед, взял мою правую руку и поднял ее, рассматривая. Я попробовал отнять ее, но его пальцы сжались без видимого усилия, и я почувствовал, что мои пальцы будут сейчас размозжены. Было трудно сохранить свое достоинство при таких обстоятельствах. Я не мог барахтаться или бороться, как школьник. Точно так же я не мог сделать нападение на существо, которому было достаточно тряхнуть мне руку, чтобы сломать ее. Пришлось стоять смирно и принять покорно обиду. Я все же успел заметить, что у

мертвеца на палубе были обшарены карманы и что его вместе с его улыбкой обернули в парусину, которую матрос Иогансен зашивал толстой белой ниткой, протыкая иголку сквозь парусину с помощью кожаного приспособления, надетого на ладонь.

Волк Ларсен выпустил мою руку с презрительным жестом.

– Руки мертвецов сделали ее мягкой. Ни на что не годна, кроме посуды и работы на кухне.

– Я хочу, чтобы меня спустили на берег, – сказал я твердо, овладев собой. – Я вам заплачу, во что вы оцените задержку в пути и хлопоты.

Он с любопытством смотрел на меня. Насмешка светилась в его глазах.

– А у меня есть встречное предложение для вас, и это для вашей же пользы, – ответил он. – Мой помощник умер, и у нас будет много перемещений. Один из матросов займет место штурмана, каютный юнга займет место матроса, а вы займете место юнги. Вы подпишете условие на один рейс и будете получать двадцать долларов в месяц на всем готовом. Ну, что вы скажете? Заметьте – это для вашего блага. Это сделает из вас кое-что. Вы научитесь, может быть, стоять на собственных ногах и даже, пожалуй, немного ковылять на них.

Я молчал. Паруса корабля, который я увидел на юго-западе, делались виднее и отчетливее. Они принадлежали такой же шхуне, как и «Призрак», хотя корпус судна – я заметил – был немного меньше. Красивая шхуна, скользившая по волнам к нам навстречу, очевидно, должна была пройти около нас. Ветер внезапно усилился, и солнце, сердито блеснув два-три раза, исчезло. Море сделалось мрачным, свинцово-серым и стало бросать к небу зашумевшие пенящиеся гребни. Наша шхуна ускорила ход и сильно накренилась. Один раз набежал такой ветер, что борт погрузился в море, и палуба была мгновенно залита водой, так что два охотника, сидевшие на скамье, должны были быстро поднять ноги.

– Это судно скоро пройдет мимо нас, – сказал я после небольшой паузы. – Так как оно идет в противоположном нам направлении, то можно предполагать, что оно направляется в Сан-Франциско.

– Очень вероятно, – ответил Волк Ларсен и, отвернувшись, крикнул: – Повар!

Повар тотчас же высунулся из кухни.

– Где этот малый? Скажи ему, что он мне нужен.

– Есть, сэр! – И Томас Магридж быстро исчез у другого люка вблизи рулевого колеса.

Спустя минуту он выскочил обратно в сопровождении тяжеловатого юноши, лет восемнадцати-девятнадцати, с красным и злобным лицом.

– Вот и он, сэр, – доложил повар.

Но Волк Ларсен не обратил на него внимания и, повернувшись к каютному юнге, спросил:

– Как тебя зовут?

– Джордж Лич, сэр, – последовал угрюмый ответ, и по лицу юнги было видно, что он уже знал, почему его позвали.

– Не очень-то ирландское имя, – отрезал капитан. – О’Тул, или Мак-Карти лучше подошли бы к твоему рылу. Впрочем, вероятно, у твоей матери был какой-нибудь ирландец с левой стороны.

Я видел, как кулаки парня сжались при оскорблении и как побагровела его шея.

– Но пусть будет так, – продолжал Волк Ларсен. – У тебя могут быть основательные причины, чтобы желать забыть свое имя, и ты понравишься мне от этого не меньше, если только выдержишь свою марку. «Телеграфная Гора», этот жульнический притон, – конечно, порт твоего отправления. Это написано на всей твоей пакостной физиономии. Я знаю вашу упрямую породу. Ну-с, ты должен сообразить, что здесь ты свое упрямство должен бросить. Понял? Кстати, кто сдал тебя на службу на шхуну?

– Мак-Криди и Свенсон.

– Сэр! – прогремел Волк Ларсен.

– Мак-Криди и Свенсон, сэр, – поправился парень, и в глазах у него вспыхнул злой огонек.

– Кто получил задаток?

– Они, сэр.

– Ну разумеется! И ты, конечно, был чертовски рад, что дешево отделался. Ты позаботился поскорее удрать, потому что слышал от некоторых джентльменов, что тебя кто-то разыскивает.

В одно мгновение парень преобразился в дикаря. Его тело скорчилось как бы для прыжка, лицо исказилось яростью.

– Это... – закричал он.

– Что это? – спросил Волк Ларсен с особой мягкостью в голосе, как будто его чрезвычайно интересовало услышать невыговоренное слово.

Парень поколебался и овладел собой.

– Ничего, сэр, – ответил он. – Я беру свои слова назад.

– Ты доказал мне, что я был прав. – Это было сказано с удовлетворенной улыбкой. – Сколько тебе лет?

– Только что исполнилось шестнадцать, сэр.

– Ложь! Тебе никогда не увидать снова восемнадцати лет. Такой громадный для своего возраста, и мускулы как у лошади. Сверни свои пожитки и отправляйся на бак[7 - Верхняя палуба от бушприта до фок-мачты (то есть от носа корабля до первой мачты)]. Ты теперь лодочный гребец. Повышение. Понял?

Не дожидаясь согласия юноши, капитан повернулся к матросу, который только что закончил свою жуткую работу – зашивание мертвеца.

– Иогансен, ты что-нибудь смыслишь в навигации?

– Нет, сэр.

– Ну, не беда, все равно ты назначаешься штурманом. Перенеси свои вещи на койку штурмана.

– Есть, сэр, – последовал веселый ответ, и Иогансен со всех ног бросился на нос.

Но каютный юнга не двигался с места.

– Чего же ты ждешь? – спросил Волк Ларсен.

– Я не подписывал контракта на лодочного гребца, сэр, – был ответ. – Я заключил договор на каютного юнга и не хочу служить гребцом.

– Свертывайся и марш на бак.

На этот раз команда Волка Ларсена звучала властно и грозно. Парень ответил угрюмым, гневным взглядом и не двигался с места.

Тут снова Волк Ларсен показал свою страшную силу. Это было совершенно неожиданно и продолжалось не более двух секунд. Он сделал прыжок в шесть футов через палубу и ударил парня кулаком в живот. В то же мгновение я почувствовал болезненный толчок в области желудка, как будто ударили меня. Я упоминаю об этом, чтобы показать чувствительность моей нервной системы в то время и подчеркнуть, как непривычно было для меня проявление грубости. Юнга, а он весил не меньше ста шестидесяти пяти фунтов, скорчился. Его тело свернулось над кулаком капитана, как мокрая тряпка на палке. Затем он подскочил в воздух, описал короткую кривую и упал около трупа, ударившись головой и плечами о палубу. Он остался лежать там, корчась почти в агонии.

– Ну-с, – обратился ко мне Волк Ларсен. – Вы обдумали?

Я поглядывал на приближавшуюся шхуну: она теперь шла наперерез нам и была на расстоянии каких-нибудь двухсот ярдов. Это было чистенькое, изящное суденышко. Я заметил большой черный номер на одном из его парусов. Судно походило на виденные мною раньше изображения лоцманских судов.

– Что это за судно? – спросил я.

– Лоцманское судно «Леди Майн», – ответил Волк Ларсен. – Доставило своих лоцманов и возвращается в Сан-Франциско. С этим ветром оно будет там через пять или шесть часов.

– Пожалуйста, сигнализируйте, чтобы оно доставило меня на берег.

– Очень сожалею, но я уронил за борт сигнальную книгу, – ответил он, и в группе охотников раздался смех.

Секунду я колебался, глядя ему в глаза. Я видел ужасную расправу с юнгой и знал, что и я, вероятно, могу получить то же, если не хуже. Как я уже сказал, я колебался, но затем я сделал то, что считаю наиболее храбрым поступком во всей моей жизни. Я подбежал к борту, размахивая руками, и закричал:

– «Леди Майн»! А-о! Возьмите меня с собой на берег! Тысячу долларов, если доставите на берег!

Я ждал, глядя на двух людей, стоявших у рулевого колеса; один из них правил, другой в это время приставлял к губам мегафон[8 - Мегафон – усовершенствованный рупор.]. Я не оборачивался, хотя и ожидал каждую минуту смертельного удара со стороны человека-зверя, стоявшего позади меня. Наконец, после паузы, показавшейся мне вечностью, будучи не в силах выдерживать дольше напряжение, я оглянулся. Ларсен оставался на прежнем месте. Он стоял все в той же позе, слегка покачиваясь в такт судну и закуривая новую сигару.

– В чем дело? Какая-нибудь беда? – раздался крик с «Леди Майн».

– Да! – закричал я изо всех сил. – Жизнь или смерть! Тысячу долларов, если доставите меня на берег!

– Слишком много выпили во Фриско[9 - Фриско – сокращенное название города Сан-Франциско.]! – закричал вслед за мной Волк Ларсен. – Вот этому, – он показал на меня пальцем, – мерещатся морские звери и обезьяны!

Человек с «Леди Майн» расхохотался в мегафон. Лоцманское судно промчалось мимо.

– Пошлите его от моего имени к черту! – донесся последний крик, и оба матроса замахали руками на прощание.

В отчаянии я перегнулся через борт, глядя, как между хорошенькой шхуной и нами быстро увеличивалось темное пространство океана. И это судно будет в Сан-Франциско через пять или шесть часов. Моя голова, казалось, готова была лопнуть. Больно сжалось горло, точно к нему поднялось сердце. Пенящаяся волна ударилась о борт и обдала мои губы соленой влагой. Ветер рванул сильнее, и «Призрак», сильно накренившись, коснулся воды левым бортом. Я слышал шипение волн, захлестывавших палубу. Минуту спустя я обернулся и увидел, как юнга поднимался на ноги. Его лицо было страшно бледно и подергивалось от боли.

– Ну, Лич, идешь на бак? – спросил Волк Ларсен.

– Да, сэр, – услышался покорный ответ.

– Ну, а вы? – обратился он ко мне.

– Я предлагаю вам тысячу... – начал было я, но он меня перебил:

– Довольно! Намерены ли вы приняться за ваши обязанности каютного юнги? Или мне и вас придется вразумить?

Что мне оставалось делать? Быть жестоко избитым, может быть, даже убитым, – я не хотел погибать так нелепо. Я с твердостью посмотрел в жестокие серые глаза. Казалось, они были из гранита, так мало было в них света и тепла, свойственного человеческой душе. В большинстве человеческих глаз можно видеть отражение души, но его глаза были мрачны, холодны и серы, как само море.

- Ну?

- Да, - сказал я.

- Скажите: да, сэр!

- Да, сэр, - поправился я.

- Ваше имя?

- Ван-Вейден, сэр.

- Не фамилия, а имя.

- Хэмфри, сэр, Хэмфри Ван-Вейден.

- Возраст?

- Тридцать пять лет, сэр.

- Ладно. Идите к повару и учитесь у него своим обязанностям.

Так сделался я подневольным рабом Волка Ларсена. Он был сильнее меня, вот и все. Но это казалось мне удивительно нереальным. Даже и теперь, когда я оглядываюсь назад, все пережитое кажется мне совершенно фантастичным. И всегда будет представляться чудовищным, непонятным, ужасным кошмаром.

- Подождите! Не уходите пока!

Я послушно остановился, не дойдя до кухни.

- Иогансен, зови всех наверх. Теперь все уладилось, возьмемся за похороны, нужно очистить палубу от излишнего мусора.

Пока Иогансен созывал команду, два матроса, по указаниям капитана, положили зашитое в парусину тело на крышку люка. С обеих сторон палубы были вдоль

бортов прикреплены вверх дном небольшие лодки. Несколько человек подняли крышку люка с ее ужасной ношей, перенесли ее на подветренную сторону и положили на лодки, ногами к морю. К ногам привязали мешок с углем, принесенный поваром. Я всегда представлял себе похороны на море как торжественное и внушающее благоговение зрелище, но эти похороны меня разочаровали. Один из охотников, маленький темноглазый человек, которого товарищи называли Смоком, рассказывал веселые истории, щедро уснащенные проклятиями и непристойностями, и среди охотников поминутно раздавались взрывы смеха, звучавшие для меня как вой волков или лай адских псов. Матросы шумной толпой собрались на палубе, перебрасываясь грубыми замечаниями; многие из них спали перед тем и теперь протирали сонные глаза. На их лицах лежало мрачное и озабоченное выражение. Было ясно, что им мало улыбалось путешествие с таким капитаном, да еще при таких печальных предзнаменованиях. Время от времени они украдкой поглядывали на Волка Ларсена; нельзя было не заметить, что они побаиваются его.

Волк Ларсен подошел к покойнику, и все обнажили головы. Я бегло осмотрел матросов – их было двадцать, а включая рулевого и меня – двадцать два. Мое любопытство было понятно: судьба, по-видимому, связывала меня с ними в этом миниатюрном плавучем мирке на недели, а может быть, и на месяцы. Большинство матросов были англичане или скандинавы, и лица их казались угрюмыми и тупыми.

У охотников, наоборот, были более интересные и живые лица, с яркой печатью порочных страстей. Но странно – на физиономии Волка Ларсена не было отпечатка порока. Правда, черты его лица были резки, решительны и тверды, но выражение лица было открытое и искреннее, и это подчеркивалось еще тем, что он был гладко выбрит. Я с трудом поверил бы – если бы не недавний случай, – что это лицо того человека, который мог поступать так возмутительно, как он поступил с юнгой.

Лишь только он открыл рот и хотел заговорить, порывы ветра один за другим налетели на шхуну и накренили ее. Ветер запел в снастях свою дикую песнь. Некоторые из охотников тревожно поглядели вверх. Подветренный борт, где лежал покойник, накренился, и когда шхуна поднялась и выпрямилась, вода помчалась по палубе, заливая нам ноги выше сапог. Внезапно пошел проливной дождь, и каждая его капля била нас так, точно это был град. Когда дождь прекратился, Волк Ларсен стал говорить, а люди с обнаженными головами закачались в такт с подъемами и опусканиями палубы.

– Я помню только одну часть похоронного обряда, – сказал он, – а именно: «И тело должно быть сброшено в море». Итак, бросайте его.

Он смолк. Люди, державшие крышку от люка, казались смущенными, озадаченными краткостью обряда. Тогда он яростно заревел:

– Поднимайте же с этой стороны, будьте вы прокляты! Какой черт вас держит?!

Поспешно подняли испуганные матросы край крышки, и, как собака, перекинутая через борт, мертвец, ногами вперед, скользнул в море. Привязанный к его ногам уголь потянул его вниз. Он исчез.

– Иогансен! – резко крикнул Волк Ларсен своему новому штурману. – Задержи всех людей наверху, раз они уже здесь. Убрать марселя и сделать это как следует! Мы входим в зюйд-ост. Возьмите рифы на кливере и гроте[10 - Марселя – средние (считая по вертикали) паруса на первой и второй мачтах (фок- и грот-мачта). Кливер – косой парус перед фок-мачтой (первой от носа корабля). Рифы берутся у парусов для уменьшения площади прямых парусов, захватывая часть парусов короткими веревками – риф-сезнями. Взятие рифов – очень трудный маневр.] и не зевайте, если принялись за работу!

В один миг вся палуба пришла в движение. Иогансен заревел, как бык, отдавая приказания, люди стали травить канаты, и все это, конечно, было ново и непонятно для меня, сухопутного жителя. Но всего больше поразила меня общая бессердечность. Мертвец был уже прошедшим эпизодом. Его сбросили, зашитого в парусину, а судно шло вперед, работа на нем не прекращалась, и никого это событие не затронуло. Охотники смеялись новому рассказу Смока, команда тянула снасти, и два матроса взбирались наверх; Волк Ларсен изучал сумрачное небо и направление ветра... А человек, так непристойно умерший и так недостойно погребенный, опускался в морскую глубину все ниже и ниже.

Таковы были жестокость моря, его безжалостность и неумолимость, обрушившиеся на меня. Жизнь стала дешевой и бессмысленной, скотской и бессвязной, бездушным погружением в грязь и тину. Я держался за перила и смотрел через пустыню пенящихся волн на стлавшийся туман, скрывавший от меня Сан-Франциско и калифорнийский берег. Дождевые шквалы налетали между мной и туманом, и я едва видел стену тумана. А это странное судно, со своей страшной командой, то взлетая на вершины волн, то проваливаясь в

бездну, уходило все дальше на юго-запад, в пустынные и широкие просторы Тихого океана.

Глава IV

Все, что происходило со мной в следующие дни на промысловой шхуне «Призрак» в то время, как я пытался освоиться с новой обстановкой, было непрерывным унижением и страданием. Повар, которого команда звала «доктором», охотники – «Томми», а Волк Ларсен – «поваришкой», совершенно изменился. Перемена моего положения соответственно переменяла и его обращение со мной. Раньше он заискивал и подмазывался, теперь он сделался властным и требовательным. В самом деле, я был для него уже не изящным джентльменом с тонкой, «как у леди», кожей, а обыкновенным и очень бестолковым юнгой.

Он нелепо настаивал на том, чтобы я называл его «мистером Магриджем», и его заносчивость, когда он объяснял мне мои обязанности, была совершенно невыносимой. Кроме работы в кают-компании с ее четырьмя маленькими отделениями – спальнями, на меня возлагалась обязанность помогать повару по кухне, и мое полное невежество в таких вещах, как чистка картофеля или мытье салных кастрюль, было неиссякаемым источником для его саркастического изумления. Он отказывался принимать во внимание, кем я был или, скорее, какова была раньше моя жизнь и какая обстановка была мне привычной. Это пренебрежение входило как необходимая часть в его обращение со мной, и, признаюсь, что прежде, чем окончился день, я возненавидел его так, как никогда еще никого не ненавидел в своей жизни.

Первый день моей службы был для меня особенно труден еще и оттого, что «Призрак» должен был «при тройных рифах» (я значительно позже ознакомился с подобными терминами) бороться с тем, что мистер Магридж называл «воющим зюйд-остом»[11 - Зюйд-ост – юго-восток, и ветер этого направления.]. По указаниям Магриджа я в половине пятого накрыл стол в каюте, расставил на местах особую посуду, употребляющуюся во время бурной погоды, и начал подавать снизу из кухни чай и горячую пищу. В связи с этим я не могу не рассказать о своем первом знакомстве с бурным морем.

– Глади в оба, а то искупаешься, – было напутствие мистера Магриджа, когда я вышел в первый раз из кухни, держа в одной руке большой чайник, а другой прижимал к себе несколько кусков свежее испеченного хлеба. Один из охотников, высокий, ловкий парень по имени Гендерсон, как раз в это время шел по палубе к капитанской рубке. Волк Ларсен стоял на корме, со своей вечной сигарой во рту.

– Вот она катится! Смотри! – прокричал повар. Я остановился, недоумеваю, что именно катится, и увидел, как дверь в кухню с треском захлопнулась. Гендерсон как сумасшедший подпрыгнул, чтобы ухватиться за веревочную лестницу, и стал быстро взбираться по ней, пока, наконец, не оказался на несколько футов выше моей головы. Затем я увидел большую волну, которая пенилась и загибалась высоко над бортом. Она шла прямо на меня. Мой мозг не мог быстро работать, так как все было для меня слишком ново и страшно. Я чувствовал, что мне грозит опасность, но не знал, что делать. В ужасе я оцепенел. Тогда Волк Ларсен закричал с кормы:

– Хватайтесь за что-нибудь! Эй, вы! Сутулый!

Но было поздно. Я подскочил к вантам, за которые мог бы ухватиться, если б на меня не обрушилась вдруг водяная стена. Что случилось потом, припоминаю очень смутно. Я был под водой и чувствовал, что задыхаюсь и тону. Меня что-то сбilo с ног, меня крутило, бросало, переворачивало и несло неизвестно куда. Несколько раз натыкался я на твердые предметы и вдруг сильно ударился обо что-то правым коленом. Потом вода начала спадать, и я мог снова дышать живительным воздухом. Как оказалось, меня отбросило сначала к двери кухни, потом понесло вокруг каюты и по всей подветренной стороне. Ушибленное колено болело невыносимо. Мне казалось, что я не могу сделать и шагу. Я был уверен, что нога сломана. Но повар уже кричал на меня из двери кухни:

– Эй, вы! Не всю же ночь вам возиться! Где чайник? За бортом? Черт вас побери, лучше б вы сами сломали себе шею!

Я с трудом поднялся на ноги. Большой чайник был у меня в руках. Я проковылял до кухни и передал его повару.

Но тот не переставал ругаться, охваченный негодованием, подлинным или деланным, трудно сказать.

– Будь я проклят, если вы не последняя слякоть! Ну, годитесь ли вы на что-нибудь, желал бы я знать? А? Даже чай не смог пронести как следует. Теперь мне опять придется кипятить! И чего вы сопите? – разразился он в новом припадке ярости. – Ушибли бедную ножку?! Эх вы, маменькин любимчик!

Я не сопел, но лицо мое, вероятно, кривилось от боли. Я собрал всю свою решимость, стиснул зубы и заковылял от кухни до каюты и обратно без дальнейших злоключений. Мое несчастье принесло мне разбитую коленную чашку (мне не удалось даже как следует перевязать ее, и я страдал от этого ушиба долгие месяцы) и прозвище Сутулый, которым наградил меня с кормы Волк Ларсен. С тех пор я стал известен под этой кличкой, и она настолько прочно отождествилась с моей личностью, что я и сам думал о себе как о Сутулом, как будто я всегда носил это прозвище.

Прислуживать в кают-компании за столом, где обедали Волк Ларсен, Иогансен и шестеро охотников, было нелегким делом. Каюта была тесна, и двигаться по ней было особенно трудно при сильной качке, которая не прекращалась. Но больше всего поражало меня полное равнодушие тех людей, которым я прислуживал. Колено у меня все более и более распухало. От боли я был близок к обмороку. Время от времени передо мною мелькало в зеркале мое лицо, бледное и страшное, искаженное болью. Вероятно, все видели, в каком я состоянии, но ни один не проронил ни слова. Поэтому я был почти благодарен Волку Ларсену, когда он, несколько позже (я мыл посуду), сказал мимоходом:

– Не поддавайтесь такому пустяку. Это вам пойдет на пользу. Может быть, вас немного и скрючит, но вы научитесь ходить. У вас это называется парадоксом^{[12} - Парадокс – мнение, расходящееся с общепринятым, остроумная мысль, поражающая своей необычностью.], не так ли? – добавил он.

Он, по-видимому, был доволен, когда я кивнул и сказал обычное: «Да, сэр!»

– Вы, кажется, понимаете кое-что в литературе? Ладно. Когда-нибудь поговорим с вами об этом.

И затем, не обращая на меня больше внимания, он повернулся и вышел на палубу.

В эту ночь, после бесконечного множества всяких дел, меня отправили спать на бак, к охотникам, где я занял свободную койку. Я был рад отделаться от присутствия ненавистного мне повара и дать, наконец, отдых ногам. К моему удивлению, платье уже высохло на мне, и я не чувствовал признаков простуды ни от моей последней ванны, ни от продолжительного пребывания в воде при гибели «Мартинеса». При обычных обстоятельствах, после всего, что я пережил, я, конечно, был бы уложен в постель, и за мной ухаживала бы сиделка.

Но колено меня очень беспокоило. Как мне казалось, надколенная чашка сместилась под опухолью. Когда я, сидя на своей койке, рассматривал больное колено (все шесть охотников были тут же, курили и громко разговаривали), Гендерсон, проходя мимо, бросил взгляд на опухоль.

- Скверный вид, - сказал он, - обмотайте потуже тряпкой, может быть, и пройдет.

Вот и все. А на суше я был бы заботливо уложен в кровать, и хирург лечил бы меня и давал строгие приказания не двигаться и спокойно лежать. Но надо отдать справедливость этим людям. Равнодушные к моим страданиям, они были так же равнодушны и к своим собственным. Это происходило, я думаю, во-первых, от привычки, а во-вторых, от притупленной чувствительности. Я убежден, что человек с тонкой нервной организацией страдал бы вдвое или втрое больше, чем они, от одинакового ранения. Несмотря на всю мою усталость и измученность, я не мог заснуть от боли в колене. С трудом я крепился, чтобы не стонать громко. Дома я, конечно, не удержался бы от стонов, но эта новая грубости́хийная обстановка, казалось, призывала меня к суровой сдержанности.

Как у дикарей, поведение этих людей было стоическим при крупных событиях и детским в пустяках. Мне пришлось видеть в дальнейшем плавании, как один из охотников, Керфут, раздробил себе палец; у него при этом не вырвалось ни звука, и даже выражение лица не изменилось. И тот же Керфут - я видел это не раз - приходил в бешенство из-за малейшего пустяка.

Это происходило и теперь: он кричал, рычал, размахивал руками и ругался как дьявол, и все из-за спора с другим охотником о том, как учился детеныш тюленя плавать. Он утверждал, что новорожденный тюлень умеет плавать с того самого момента, как появляется на свет. Другой охотник, Латимер, худой, похожий на янки парень, с хитрыми узкими глазами, утверждал, что тюлень оттого и рождается на суше, что не умеет плавать и что мать учит своих детенышей

плавать подобно тому, как птица учит своих птенцов летать.

Остальные четверо охотников сидели, облокотившись на стол, или лежали на своих койках, следя с интересом за развитием спора между двумя противниками и время от времени поддерживая ту или другую сторону. Иногда они начинали говорить все сразу, так что их голоса гулко раздавались в каюте, подобно бутафорским ударам грома в закрытом помещении. Тема спора была совсем детская; аргументация их была еще более детской и несерьезной. В сущности, доводов не было совсем. Методом спора было утверждение, предположение или же голословное опровержение. Они доказывали умение или неумение новорожденного тюленя плавать, просто высказывая свое мнение с воинственным видом и сопровождая его насмешками над здравым смыслом, национальностью и прошлым своего противника. Я рассказываю это с целью показать умственный уровень тех людей, с которыми мне пришлось войти в общение. Интеллектуально – это были дети, у которых были тела взрослых мужчин.

Они беспрерывно курили дешевый вонючий табак. Воздух в каюте был тяжелым и темным от дыма. Этот дым вместе с отчаянной качкой боровшегося с бурей судна, конечно, довели бы меня до морской болезни, если бы я был подвержен ей. Однако спазма отворачивания перехватила мне дыхание, вызванная, вероятно, сильной болью в ноге и усталостью.

Лежа на койке без сна, я, естественно, начал размышлять о себе и о своем положении. Неслыханно и невероятно, чтобы я, Хэмфри Ван-Вейден, ученый и любитель, с вашего разрешения, искусства и литературы, был где-то около Берингова моря и лежал здесь, на какой-то шхуне, охотящейся на котиков! Каютный юнга! Никогда в жизни не занимался я тяжелым ручным трудом. Я жил спокойно, безмятежно, без особых событий, жизнью ученого и затворника, имея для этого достаточные средства. Жизнь приключений и спорт никогда меня не привлекали. Я оставался книжным червем, как называли меня в детстве отец и сестры.

Единственный раз я принял участие в пешеходной экскурсии, но сбежал в самом начале и поспешил вернуться к удобствам и уюту домашнего крова. И вот я здесь, и предо мною мрачная бесконечная перспектива накрывания столов, чистки картофеля, мытья посуды. А я не был крепким! Врачи, положим, говорили мне, что у меня удивительное телосложение, но я никогда не развивал упражнениями своего тела. Мои мускулы были слабы и вялы, как у женщины,

так, по крайней мере, утверждали доктора при неоднократных попытках убедить меня заняться гимнастикой. Но я предпочитал упражнять голову, а не мускулы, – и вот я очутился здесь, совершенно неприспособленный к предстоящей мне тяжелой жизни.

Отмечаю немного из того, что я передумал тогда, чтобы заранее оправдать себя за ту слабую и беспомощную роль, которую мне суждено было играть. Но я думал также и о моей матери и сестрах и представлял себе их горе. Я, разумеется, числился среди погибших при катастрофе, в списке «неразысканных тел». Я представлял себе заголовки газет; я видел моих приятелей в университетском клубе, говоривших при упоминании обо мне: «Бедняга». И я мысленно рисовал себе Чарли Фэрасета, когда я прощался с ним в то памятное утро и он полулежал в халате на кушетке у окна, рассыпая свои двусмысленные и пессимистические эпиграммы.

А пока я думал, шхуна «Призрак» прокладывала себе путь дальше и дальше, в самое сердце Тихого океана, качаясь, содрогаясь, взбираясь на движущиеся горы и падая в пенящиеся бездны, – и я был на ней. Я слышал вой ветра наверху. Он доносился до меня глухим ревом. Время от времени слышалось топанье ног по палубе. Кругом все скрипело; деревянная облицовка и перегородки стонали, визжали и жаловались на тысячу разных голосов. Охотники все еще спорили и рычали, словно какие-то человекообразные земноводные; в воздухе висели проклятия и непристойные выражения. Я видел их лица, злые и красные. Зверские черты становились еще резче от тусклого желтого света морских ламп, которые качались взад и вперед вместе с судном. Сквозь густые облака табачного дыма койки казались логовищами животных в зверинце. Кожаная промасленная одежда и морские сапоги висели на стенах, а на полках лежали ружья и винтовки. Все это напоминало снаряжение пиратов и морских разбойников давно прошедших лет. Мое воображение разыгралось, и я никак не мог заснуть. Да! Это была долгая-долгая ночь – томительная, тяжкая, бесконечно длинная.

Глава V

Моя первая ночь в каюте с охотниками была и последней. На следующий день Иогансен, новый штурман, был изгнан Волком Ларсеном из своей каюты и

переселен в каюту к охотникам, а я поместился в крохотной каютке, в которой за первый же день путешествия перебивало уже два жильца. Охотники скоро узнали о причине выселения штурмана, и это вызвало с их стороны сильный ропот. Оказалось, что Иогансен переживал каждую ночь во сне все происшествя истекшего дня. Волку Ларсену надоело выслушивать его непрерывную сонную болтовню, вопли, выкрикивания приказаний, и он свалил эту неприятность на охотников.

После бессонной ночи я поднялся совершенно обессиленный и разбитый, чтобы проковылять мой второй день на «Призраке». В половине шестого Томас Магридж разбудил меня грубее, чем Билл Сайкс[13 - Билл Сайкс – грубый, жестокий вор – один из персонажей романа Диккенса «Оливер Твист».] будил свою собаку, но жестокость Магриджа по отношению ко мне была ему возмещена сторицей. Ненужный шум, поднятый им, чтобы разбудить меня, – я всю ночь не смыкал глаз, – разбудил кого-то из охотников: тяжелый башмак пролетел в полумраке, и мистер Магридж, застонав от боли, был вынужден извиниться перед всеми. Несколько позже, на кухне, я увидел, что его ухо в крови и сильно распухло. Надо прибавить, что оно не вернулось больше к своему первоначальному виду и впоследствии получило от матросов название «капустный лист».

День был полон для меня мелких неприятностей. Накануне вечером я взял из кухни свое высохшее платье, и первое, что я сделал в это утро, – сбросил с себя вещи повара. Я стал разыскивать свой кошелек. Кроме мелочи (а у меня на это хорошая память), в нем было в момент крушения сто восемьдесят пять долларов золотом и кредитками. Все содержимое кошелька, за исключением мелкой серебряной монеты, исчезло. Я заявил об этом повару тотчас же, как поднялся на палубу и приступил к исполнению своих обязанностей на кухне. Хотя я и ждал от него грубого ответа, однако не был подготовлен к той заносчивой речи, с которой он на меня накинулся.

– Слушай-ка, Сутулый, – начал он со зловещим огоньком в глазах и с хриплой злобой в голосе, – ты, верно, желаешь, чтобы тебе разбили нос? Если ты воображаешь, что я вор, то лучше побереги это про себя, а то увидишь, как ты чертовски ошибался. Чтоб я ослеп на этом самом месте, если в тебе есть хоть капля благодарности! Ты появляешься здесь, несчастный, жалкий, и я беру тебя к себе на кухню, ухаживаю за тобой. И вот твоя плата! Иди к черту, у меня чешутся руки показать тебе дорогу.

При этих словах он сжал кулак и стал на меня наступать. К моему стыду, я старался увильнуть от удара и выбежал из кухни. Что мне было делать? Сила, грубая сила властвовала на этом зверском судне. Мораль была здесь неизвестна. Вообразите, в самом деле: человек среднего роста, нежного сложения, с неразвитыми, слабыми мускулами, который всегда жил тихой и мирной жизнью и не привык ни к какому проявлению насилия, и что было делать такому человеку? Ведь стать лицом к этим зверям в образе людей – все равно что вступить в бой с разъяренным быком.

Так я рассуждал в то время, чувствуя потребность в самооправдании и желая примириться со своей совестью. Но такого рода оправдание не удовлетворило меня. И до сего дня, вспоминая прошлое, я испытываю некоторый стыд и не могу быть вполне удовлетворенным своим тогдашним поведением. По существу, положение исключало рациональные поступки и требовало чего-то большего, нежели холодные доводы рассудка. С точки зрения формальной логики нет ни одного поступка, которого мне пришлось бы стыдиться; однако, как только я начинаю припоминать, мне каждый раз становится стыдно: моя мужская гордость в чем-то была унижена и оскорблена.

Но оставим запоздалые сожаления. Быстрота, с которой я выбежал из кухни, вызвала в моем колене страшную боль, и я беспомощно опустился на выступ юта[14 - Ют – верхняя палуба от бизань-мачты до кормы корабля (бизань-мачта – третья мачта от носа).]. Повар не преследовал меня.

– Смотрите, как он улепetyвает! – кричал он издали. – Смотрите! А еще охромел! Иди назад, бедный маменькин сынок, не бойся. Не трону я тебя, не бойся!

Я вернулся и принялся за прерванную работу. На этом весь эпизод – правда, на время – и закончился. Дальнейшее развитие событий еще должно было последовать. Я накрыл в каюте стол для завтрака и в семь часов стал прислуживать охотникам и Волку Ларсену. Буря, видимо, стихла за ночь, хотя тяжелые волны все еще вздымались и дул свежий ветер. Утренняя вахта уже поставила паруса, и «Призрак» неся по волнам при полной оснастке, кроме двух марселей и кливера. Как я понял из разговора, и эти три паруса надлежало поставить немедленно после завтрака. Я также узнал, что Волк Ларсен намерен использовать этот ветер, который гнал его на юго-запад, именно в ту часть океана, где он надеялся застать северо-восточный пассат[15 - Пассаты – ветры, дующие между тропиками круглый год, в Северном полушарии с северо-востока, в Южном – с юго-востока, отделяясь друг от друга безветренной полосой.]. Он

рассчитывал под этим пассатом пройти большую часть пути до Японии, спуститься затем к тропикам и, наконец, снова подняться к северу, когда мы приблизимся к берегам Азии.

После завтрака у меня был еще один незавидный опыт. Покончив с мытьем посуды, я выгреб из печки в каюте золу и вынес ее на палубу, чтобы выкинуть за борт. Волк Ларсен и Гендерсон оживленно беседовали у руля. Управлял рулем матрос Джонсон. Когда я двинулся к наветренному борту, я заметил, что он сделал неожиданное для меня движение головой, которое я ошибочно принял за утреннее приветствие. На самом же деле он хотел предупредить меня, чтобы я не бросал золу против ветра. Не сознавая своего промаха, я прошел мимо Волка Ларсена и выбросил золу через борт. Ветер моментально подхватил ее, отнес обратно на шхуну и не только обдал ею всего меня, но обсыпал также Гендерсона и Волка Ларсена. В одно мгновение Волк Ларсен дал мне жестокий пинок, словно дворняжке. Я не воображал, что пинком можно причинить такую боль. Я отскочил и прислонился к каюте в полуобморочном состоянии. Все поплыло перед глазами, и меня затошнило. Я едва дотащился до борта. Волк Ларсен за мной не последовал. Смахнув золу с куртки, он как ни в чем не бывало возобновил разговор с Гендерсоном. Увидев со своего мостика, что произошло, Иогансен послал двух матросов подмести палубу.

В то же самое утро, несколько позже, я натолкнулся на сюрприз совершенно другого сорта. По распоряжению повара я прошел в каюту Волка Ларсена, чтобы привести ее в порядок и прибрать постель. На стене, у изголовья койки, висела полка с книгами. Я посмотрел на них и с удивлением увидел таких авторов, как Шекспир, Теннисон, Эдгар По и Де-Куинси. Были и научные сочинения, и среди них труды Тиндаля, Проктора и Дарвина, а также книги по астрономии и физике. Я заметил «Сказочный век» Булфинча, «Историю английской и американской литературы» Шоу и «Естественную историю» Джонсона в двух больших томах. Было здесь несколько грамматик Меткалфа, Гида и Келлога, и я не мог не улыбнуться, увидев «Английский язык для священника».

Я никак не мог примириться с мыслью, что эти книги принадлежат Волку Ларсену, и я усомнился, мог ли он действительно их читать. Но затем, когда я стал прибирать постель, из одеяла выпал томик Броунинга кембриджского издания, очевидно, Ларсен читал его перед сном. Книга была открыта на стихах «На балконе», и некоторые места были подчеркнуты карандашом. В книгу был вложен листок бумаги, испещренный геометрическими чертежами и выкладками.

Было ясно, что этот страшный человек не был невежественным чурбаном, как можно было бы предположить, судя по его грубости. Он стал для меня загадкой. Та или другая сторона его личности в отдельности была совершенно понятна, но, взятые вместе, они положительно ошеломили. Я уже и раньше заметил, что он говорил превосходным языком, лишь с незначительными случайными неточностями. В грубом разговоре с матросами и охотниками он, разумеется, часто уснащал свою речь ошибками, свойственными морскому жаргону, но в тех немногих словах, которыми он обменялся со мной, его произношение было точным и ясным.

Случайное знакомство с его другой стороной подбодрило меня, и я решился заговорить с ним о моих пропавших деньгах.

– Меня обокрали, – обратился я к нему немного погодя, когда он в одиночестве разгуливал по палубе.

– Сэр, – сказал он не резко, но сурово.

– Меня обокрали, сэр, – поправился я.

– Как это случилось? – спросил он.

Я рассказал всю историю: как я оставил платье в кухне для просушки и как потом я чуть не был избит поваром за то, что позволил себе указать ему на пропажу. Ларсен улыбнулся, выслушав меня.

– Стащил, – заключил он, – стащил поваришка. А разве ваша жалкая жизнь не стоит этих денег? Как вы думаете? К тому же смотрите на это как на урок. Со временем вы научитесь беречь свои деньги. До сих пор этим занимался, вероятно, ваш поверенный или нотариус.

Я почувствовал в его словах спокойную насмешку, но все же спросил:

– Как же мне получить деньги обратно?

– Ну, это уж ваше дело. Здесь у вас нет ни поверенного, ни нотариуса, рассчитывайте только на самого себя. Добудете доллар, держитесь за него.

Человек, оставляющий деньги валяться где попало, как это сделали вы, заслуженно лишается их. К тому же вы и согрешили. Не сейте соблазны на дороге ваших ближних! Вы соблазнили поваришку, и он пал. Его бессмертную душу вы подвергли опасности. Кстати, верите вы в бессмертие души?

Он медленно поднял веки, и мне показалось, что раскрылась глубина и я гляжу в его душу. Но это было иллюзией. Ни одному человеку не удалось глубоко заглянуть в душу Волка Ларсена. В этом я был совершенно убежден. Его душа всегда была одинокой, – мне суждено было узнать это, – она никогда не снимала маски, хотя в редкие минуты и играла в откровенность.

– Я читаю бессмертие в ваших глазах, – ответил я, опуская «сэра» в виде опыта, так как подумал, что некоторая интимность разговора должна была это позволить. Он не обратил на это внимания.

– Я допускаю, что вы видите в них нечто живое, но этому живому нет необходимости жить вечно.

– Я вижу больше, чем это, – продолжал я смело.

– Значит, вы имеете в виду сознание. Вы видите сознание живой жизни, но не больше, не бесконечность жизни.

Как он ясно думал и как ясно выражал свои мысли! Он отвернулся от меня и стал смотреть на свинцовое море. Что-то мрачное мелькнуло в его глазах, и линии рта сделались резкими и суровыми. Он, видимо, был в пессимистическом настроении.

– Но какая цель? – спросил он отрывисто, повернувшись ко мне. – Если я бессмертен, то зачем?

Я молчал. Как мог я объяснить этому человеку свой идеализм? Как я мог вложить в свою речь что-то неопределимое, что-то похожее на музыку, которую мы слышим во сне, что-то такое, что убеждало, но что не улавливалось словами?

– Во что же вы верите тогда? – в свою очередь спросил я.

– Я верю в то, что жизнь – борьба. Она подобна дрожжам, которые движутся, могут шевелиться минуту, час, год или сто лет, но в конце концов все-таки должны остановиться. Большие пожирают маленьких, чтобы продолжать двигаться, сильные пожирают слабых, чтобы удержать в себе свою силу. Кому посчастливится, те съедают больше и двигаются дольше, вот и все. А какого вы мнения об этом?

Нетерпеливым жестом он указал на группу матросов, которые что-то делали с веревками на палубе.

– Они двигаются, но ведь и морские медузы двигаются. Они передвигаются для того, чтобы есть и благодаря этому продолжать двигаться. Вот вам и все. Они живут для желудка, а желудок существует для их движения. Это заколдованный круг – выбраться некуда. Они и не выбирают. В конце концов наступает остановка. Они больше не двигаются. Они мертвы.

– У них бывают мечты, – прервал я, – красивые, радостные сны.

– О жратве, – закончил он решительно.

– Не только...

– Только о жратве. Побольше бы разжечь аппетит и поудачнее бы удовлетворить его. – Голос его звучал резко. В нем не было и тени шутки. – Смотрите, они мечтают о счастливых плаваниях, которые дадут им много денег, мечтают о том, что они сделаются командирами на судах, что они найдут клады, – одним словом, мечтают, как бы захватить побольше возможностей для притеснения своих ближних, спать спокойно, есть вкусно и переложить на кого-то всю грязную работу. И мы с вами совершенно такие же. Разницы никакой нет, разве только в том, что мы ели лучше и больше. Я теперь пожираю их, и вас также. Но раньше вы ели больше меня. Вы спали на мягких постелях, одевались в хорошее платье и съедали хорошие обеды. А кто делал эти постели? Кто шил одежду? Кто добывал и готовил пищу? Не вы. Вы никогда ничего в поте лица своего не делали. Вы жили на средства, заработанные вашим отцом. Вы похожи на птицу-фрегат, бросающуюся на бакланов и отнимающую у них рыбу, которую они наловили для себя. Вы частица той группы людей, которая изобрела так называемое правительство, чтобы захватить власть над всеми другими людьми, чтобы есть пищу, которую добывают другие и которую они хотели бы есть сами.

Вы носите теплую одежду. Ее сделали для вас другие, но сами они дрожат от холода, едва прикрытые лохмотьями, и просят вас или вашего управляющего о работе.

- Но это к делу не относится! - воскликнул я.

- Относится. - Он говорил быстро, и глаза его блестели. - Это свинство, и это жизнь. Для чего же нужно вечное свинство? Какой в этом смысл? Какая конечная цель? Вы не добывали пищи. Однако та пища, которую вы съели или испортили, могла бы спасти жизнь многих несчастных, которые произвели эту пищу, но не ели ее. Какой же вечной цели вы служили? Или они? Подумайте о себе и обо мне. К чему сводится ваше хваленое бессмертие души, когда ваша жизнь сталкивается с моей? Вы хотели бы вернуться на сушу, где раздолье для свинства в вашем духе. А мой каприз - держать вас на судне, где процветает свинство. И я буду вас держать. Я переделаю вас или сломаю. Вы можете умереть сегодня, через неделю, через месяц. Я мог бы убить вас немедленно, одним ударом кулака, потому что вы жалкое, хилое существо. Но если мы бессмертны, каков смысл в этом? Быть свиньями, как мы с вами были всю нашу жизнь, как будто не совсем подходящая вещь для бессмертных. Ну, в чем же смысл? Почему я держу вас здесь?

- Потому что вы сильнее, - брякнул я.

- Но почему сильнее? - продолжал он свои настойчивые вопросы. - Потому что во мне больше дрожжей, чем в вас. Разве вы не понимаете? Неужели не понимаете?

- Но как все это безнадежно! - запротестовал я.

- Я с вами согласен, - ответил он. - Если жить значит только двигаться, то зачем двигаться? Если бы мы не двигались и не составляли части этих дрожжей, то не было бы и безнадежности. Не в этом-то и вся суть - мы хотим жить и двигаться, хотя причины на это у нас никакой нет, и только потому так выходит, что закон жизни в том, чтобы жить и двигаться, в желании жить и двигаться. Если бы этого закона не было, то жизнь была бы мертва. Только от этого брожения жизни вы и мечтаете о бессмертии. Оно живет в вас и хочет жить вечно. Ха-ха! Вечность свинства!

Он вдруг повернулся на каблуках и отошел от меня. Остановившись у мостика на корме, он подозвал меня.

- Кстати, - спросил он, - сколько утащил у вас поваришка?

- Сто восемьдесят пять долларов, сэр, - ответил я. Он кивнул. Минутой позже, спускаясь по трапу накрывать стол, я слышал, как он громко ругал кого-то на палубе.

Глава VI

На следующее утро буря стихла, и «Призрак» слегка покачивался на спокойной глади, при полном отсутствии ветра. Однако временами ощущалось слабое движение воздуха, и Волк Ларсен стоял все время на корме, изучая море в северо-восточном направлении, откуда должен был подуть стремительный пассат.

Команда была вся на палубе, приготавливая лодки к сезонной охоте. Всего было семь лодок - капитанский баркас и шесть промысловых. Команда каждой состояла из трех человек: охотника, гребца и рулевого. Из этих же гребцов и рулевых состояла команда шхуны. Впрочем, и охотники могли стоять на вахте, находясь всегда в распоряжении капитана.

Все это и многое другое узнавал я постепенно. «Призрак» считался самой быстроходной шхунной среди парусных судов Сан-Франциско и Виктории. Когда-то она была частной яхтой и построена с расчетом на особую скорость. Ее размеры и оснастка - хотя я и не смыслю в таких вещах - говорят сами за себя. Во время вчерашней дневной вахты Джонсон кое-что порассказал мне о ней. Он говорил с энтузиазмом, с такой же любовью к великолепному судну, какую некоторые люди проявляют к лошадям. Но во всем остальном он был разочарован, и дал мне понять, что Волк Ларсен среди капитанов пользовался очень сомнительной репутацией. Джонсона привлекла сама шхуна «Призрак», и он записался в ее команду, а теперь начинал уже раскаиваться.

От него я узнал, что «Призрак» – восьмидесятитонная шхуна чрезвычайно изящной конструкции. Ее ширина двадцать три фута, а длина немногим больше девяноста. Свинцовый киль сказочной, неслыханной тяжести делает ее очень устойчивой, позволяя нести огромное количество парусов. От палубы до вымпела грот-мачты несколько больше ста футов, в то время как бизань-мачта со своей стеньгой на восемь или десять футов ниже. Я привожу эти данные для того, чтобы можно было себе представить размеры нашего маленького мирка, вмещавшего в себе команду из двадцати двух человек. Это был действительно очень маленький мирок, точка или атом среди безбрежного моря, и я часто изумлялся, как люди смели выходить в море на таких утлых и ничтожных скорлупках.

Волк Ларсен был известен еще и тем, что беззаботно играл парусами. Я подслушал, как об этом разговаривали Гендерсон и другой охотник, по имени Стэндиш, калифорниец. Два года назад во льдах Берингова моря бурей сорвало с «Призрака» все три мачты; теперешние мачты, поставленные после катастрофы, были более прочные и тяжелые. Говорили, что, ставя их, Ларсен хвалился, что скорее перевернет шхуну, чем потеряет новые мачты.

По-видимому, все здесь, кроме Иогансена, несколько возгордившегося своим повышением, стыдились своей службы у Ларсена и старались оправдаться в том, что согласились поступить на «Призрак». Половина команды – моряки дальнего плавания, и они уверяли, что ничего не знали до поступления на это судно о капитане Ларсене. А те, кто знал, сообщали шепотом, что наши охотники, хотя и отличные стрелки, были до такой степени известны своим задорным характером и жульничеством, что не смогли бы подписать контракта ни с какой другой приличной шхуной.

Я познакомился еще с одним матросом из команды, круглолицым и веселым ирландцем Луисом из Новой Шотландии. Этот общительный парень был способен говорить без передышки, лишь бы кто-нибудь его слушал. Около полудня, когда повар спал, а я чистил свой вечный картофель, Луис зашел поболтать в кухню. В оправдание своей службы на «Призраке» он говорил, что был пьян, когда подписывал контракт. В трезвом виде он ни за что на свете не сделал бы этого. По-видимому, он уже много сезонов подряд бил котиков и в течение двенадцати лет числился среди тех двух-трех гребцов, лучше которых нет во всей флотилии Сан-Франциско и Виктории.

– Ах, дружище, – говорил он, зловеще покачивая головой, – это самая плохая шхуна, которую вы могли выбрать, и притом вы не были пьяны, как я. Знаете, на другом судне охота на тюленей и котиков – это просто рай. У нас первым скапутился штурман, но запомните мои слова: к концу нашего плавания у нас будет немало покойников. Теперь слушайте, только пусть это останется между нами и этим столом, – Волк Ларсен сущий дьявол, а «Призрак» покажет себя чертовой посудинкой, какой он всегда и был с тех пор, как Ларсен стал командовать им. Разве я не знаю этого? Знаю, и даже очень хорошо. Разве я не помню, как два года назад, в Хакодате[16 - Хакодате – город и порт в Японии на о. Иессо.], у него на шхуне случилась драка и он застрелил четырех матросов! Разве я не был тогда на «Эмме» всего в каких-нибудь трехстах ярдах[17 - Ярд – английская мера длины, равная трем английским футам, равна 0,9144 м.] от него! И в том же году он ударом кулака убил человека. Да, сэр, он убил его наповал. Его голова разлетелась как яичная скорлупа. А разве не было такого случая, когда губернатор острова Куры и начальник полиции – два японских джентльмена – явились на «Призрак» в гости, да притом еще и с женами – маленькими такими бабеночками, каких рисуют на японских веерах! Разве не вышло так, что когда Ларсен отплывал, то любящие мужья оказались вдруг высаженными в свои джонки[18 - Джонка – китайское судно с широкой и высоко поднятой кормой.] по какому-то странному недоразумению, а их бедные маленькие жены через неделю оказались вдруг на противоположном берегу острова, и им не оставалось ничего другого, как идти домой через горы пешком, в своих крошечных соломенных сандалиях, которые сейчас же с них и свалились! Разве я всего этого не знаю? Он-то и есть настоящий зверь. Волк Ларсен – это тот самый Великий Зверь из Апокалипсиса. И, поверьте мне, все это к добру не приведет. Но имейте в виду, я ничего вам не говорил. Я ни словечка вам не шепнул ни о чем, потому что старый, жирный парнюга Луис желает выскочить из этого плавания живым, если даже все остальные маменькины сынки отправятся на съедение рыбам.

– Волк Ларсен! – воскликнул он через минуту. – Вслушайтесь хорошенько в это имечко! «Волк» – вот он кто! Волк это значит! Он не жесток, как некоторые. Нет, но у него вовсе нет сердца. Волк, сущий волк! Хорошее имечко ему дали, а?

– Но если всем известно, что он за человек, – спросил я, – то как же он набирает себе команду?

– А как вообще находят людей, готовых сделать все, что угодно, на земле и на море? – спросил Луис с ирландской запальчивостью. – Как бы я, например,

оказался здесь, если бы не был пьян, как свинья, когда подмахивал контракт? Всегда найдутся такие, которые все равно не могли бы попасть на лучшее судно, а другие ровно ничего не знали, как, например, вон те бедняги на носу. Но они поймут, да, они поймут и проклянут тот день, когда явились на свет. Право, я заплакал бы о них, если бы не беспокоила меня больше всего судьба старого толстяка Луиса. Но смотрите – я вам ничего не говорил. Ни-ни! Ни единого звука!

– Жуткие ребята эти охотники, – снова разразился он, увлекаемый страстью к болтовне. – Но обождите, пусть только они начнут выкидывать свои штуки! Волк Ларсен сумеет скрутить их. Он вложит страх Божий в их гнилые черные сердца. Посмотрите на милейшего охотника Хорнера, – тихоня, ходит легонько, говорит сладенько, как барышня. Можно подумать даже, что масло не растает у него во рту! А не он ли в прошлом году убил своего рулевого? Тогда признали это «несчастливым случаем», но я встретил его гребца в Иокогаме, и он мне напрямик расписал, как было дело. А Смок, этот черномазый чертенок, – вы ведь не знаете, что русские приговорили его к трем годам каторжных работ в сибирских рудниках за то, что он браконьерствовал на Медном острове, право охоты на котором принадлежит русским. Его сковали рука с рукой и нога с ногой с его товарищем. А там, в рудниках, они перессорились из-за чего-то. И Смок прикончил своего близнеца и отправил его наверх в бадье с солью: но посылал его по частям – сегодня ногу, завтра – руку, послезавтра – голову.

– Что вы говорите! – воскликнул я, пораженный ужасом.

– Что я говорю? – вспыхнул он, точно огонь. – Я не говорил вам ровно ничего. Я глух и нем, чего и вам желаю, ради блага родной вашей матери. Если я открывал рот, то лишь для того, чтобы рассказать вам самые прекрасные вещи о них и о Ларсене, пусть черт скрючит его душу, пусть он гниет в чистилище десять тысяч лет и пусть низвергнется потом в самую глубину преисподней.

Джонсон, тот самый матрос, который чуть не содрал мне кожу, когда я впервые попал на борт, казался наименее подозрительным из всей этой братии. Он, по-видимому, не был двуличным. Он с самого начала поражал своими прямоотой и достоинством, смягчавшимися скромностью, которую можно было ошибочно принять за робость. Но робким он не был. Он храбро высказывал свои взгляды, в нем было упрямое мужество. Сознание своего достоинства заставило его в начале нашего знакомства протестовать против того, чтобы его называли Ионсоном. И вот насчет этой щепетильности начал Луис чесать свой длинный язык и пророчествовать.

– Славный парень этот самый головастый Джонсон. Лучший у нас матрос. Он у меня гребцом в лодке. Но запомните мое слово, будет у него беда с Волком Ларсеном. Уж я это знаю. Уж я вижу; надвигается и подходит она, как грозовая туча. Я хотел поговорить с ним по-братски, но он ничего не хочет слушать, все ему надо разбирать, где правильные огни, а где фальшивые сигналы. Он ворчит, когда ему что-нибудь не нравится, а здесь всегда найдется болтун, который донесет об этом Волку. Волк силен, но Волк ненавидит чужую силу, а он видит силу в Джонсоне. У Джонсона нет этой приниженности, нет того, чтобы он на пинок или ругательство ответил: «Да, сэр!» или: «Очень благодарен, сэр!» Ох, быть беде, быть беде! И где я достану тогда другого гребца? До чего дошел упрямый дурак! Когда старик назвал его Ионсоном, он отрезал ему: «Мое имя Джонсон, сэр, а не Ионсон!» И повторяет свою фамилию по складам, буква за буквой. Посмотрели бы вы на лицо капитана! Я думал, что он тут же уложит его на месте. Он этого не сделал, но сделает, сломает ему гордыню! Или уже я ровно ничего не понимаю в людях на судах дальнего плавания!

Томас Магридж становится все невыносимее. Я принужден называть его «мистер» и «сэр» при каждом слове. Одна из причин его заносчивости та, что Волк Ларсен как будто благоволит к нему. Капитану быть запанибрата с поваром, мне кажется, совсем недопустимо, но именно так и повел себя Волк Ларсен. Два или три раза он просовывал голову в кухню и добродушно зубоскалил с Магриджем, а сегодня днем он проболтал с ним на корме целых пятнадцать минут. Когда разговор кончился и Магридж вернулся в кухню, лицо его сияло как медный грош, и он продолжал работу, напевая уличные песни душераздирающим и фальшивым фальцетом[19 - Фальцет – высокий голосовой звук особого тембра.].

– Я умею ладить со старшими, – сказал он мне конфиденциальным тоном. – Я знаю, как мне держать себя, чтобы меня ценили. Вот, к примеру, мой последний шкипер... Мне ничего не стоило зайти к нему запросто в каюту для дружеской беседы и выпить с ним стаканчик вина. «Магридж, – говорил он мне, – Магридж, ты упустил свое истинное призвание!» «А какое?» – спрашиваю я. «Ты должен был родиться джентльменом и никогда не работать». Разрази меня гром на этом самом месте, если он не говорил мне этого! И я сидел в его каюте веселый и довольный, курил его сигары и пил его ром.

Эта болтовня доводила меня до сумасшествия. Никогда раньше не слышал я голоса, который был бы мне так противен. Его масляный, вкрадчивый тон, расплывчатая улыбка и безудержное самомнение действовали мне на нервы до

такой степени, что меня иногда просто трясло. Положительно, он был самой отталкивающей личностью, какую я когда-либо встречал. Он был неопишимо грязен, и так как он один готовил всю пищу на судне, то мне поневоле приходилось есть с большой осторожностью, выбирая то, к чему он меньше прикасался.

Меня очень беспокоило состояние моих рук, не привыкших к грубой работе. Ногти стали черными, а кожа до такой степени пропиталась грязью, что даже жесткая щетка не могла ее оттереть. Потом появились волдыри, крайне мучительные. На плече у меня был большой ожог: во время качки я упал на кухонную плиту. Не поправлялось и разбитое колено. Опухоль не уменьшалась, и коленная чашка все еще находилась не на месте. Постоянное движение с утра до вечера мешало выздоровлению. Чтобы поправиться, мне нужен был покой, самое главное – покой.

Отдых! Я ранее не понимал значения этого слова. Я всю свою жизнь отдыхал, сам того не сознавая. А теперь, если бы я мог спокойно посидеть полчаса, ничего не делая, даже не думая, то это было бы для меня приятнее всего на свете. Но, с другой стороны, моя теперешняя жизнь была для меня откровением. Только теперь я понял, как приходится жить рабочему люду. Мне раньше и не снилось, что работа может быть так ужасна. С половины шестого утра и до десяти часов вечера я был рабом для всех, не имея при этом ни одной минуты для себя, кроме тех редких моментов, которые я уворовывал в конце второй утренней вахты. Но стоило только мне заглядеться на море, сверкающее на солнце, или на матроса, взбирающегося вверх на реи или на бушприт, как уж раздавался ненавистный голос: «Эй, Сутулый, нечего лодырничать, идите сюда!»

Среди охотников, по-видимому, нарастает раздражение, и говорят, что Смок и Гендерсон подрались. Гендерсон, кажется, лучший охотник – это медлительный человек, которого трудно раздражить, но, очевидно, все-таки его разозлили, потому что у Смока оказался подбитым глаз, и когда он явился к ужину, то вид у него был злобный и мрачный.

Перед ужином произошел неприятный случай, показавший всю притупленность и грубость этих людей. В команде был один новичок по имени Гаррисон, неуклюжий деревенский парень, увлеченный, как я предполагаю, духом искания приключений и совершавший свое первое плавание. При слабом, переменчивом ветре шхуна быстро лавировала, причем паруса перекидывались с одной стороны на другую, и нужно было послать матроса наверх что-то там

прикрепить. Каким-то образом в то время, как Гаррисон был наверху, парус защемился в блок, по которому ходит снасть. Как мне объяснили, было два способа освободить парус: спустить фок[20 - Фок – нижний парус на фок-мачте.], что сравнительно легко и безопасно, или заставить кого-нибудь влезть на конец реи[21 - Рея – горизонтальный брус, укрепленный поперек мачт.], что весьма рискованно.

Иогансен приказал Гаррисону лезть наверх. Ясно было для всех, что парень боится. И трудно не испугаться, если надо повиснуть на тонких раскачивающихся канатах, на восьмидесятифутовой высоте над палубой. Если бы еще был попутный ветер, дело не обстояло бы так плохо, но «Призрак» выдерживал в это время боковую качку, и с каждым его креном паруса с шумом полоскали в воздухе, а снасти то ослаблялись, то вновь натягивались. Они могли столкнуть оттуда человека, как муху. Гаррисон расслышал приказание и понял, что от него требовалось, но колебался. По-видимому, он влезал на снасти первый раз в жизни. Иогансен, который уже успел заразиться от Волка Ларсена властолюбием, разразился потоком брани и проклятий.

– Довольно, Иогансен, – резко сказал Волк Ларсен. – На этом судне ругаюсь я один. Если мне нужна будет помощь, я вас позову.

– Слушаю, сэр, – покорно ответил штурман.

Гаррисон тем временем уже отправился наверх. Я смотрел через кухонную дверь и видел, как он дрожал всем телом, точно в лихорадке. Он продвигался очень медленно и осторожно. Выделяясь на ясном голубом фоне неба, он был похож на огромного паука, который полз по своей паутине.

Надо было карабкаться очень осмотрительно, так как фок был высоко закреплен, а фалы, проходя через различные блоки на гафеле[22 - Гафель – наклонный брус, упирающийся нижним концом в мачту. Фалы – снасти, поднимающие паруса.] и мачте, давали только отдельные точки опоры для рук и ног. Но главная трудность заключалась в том, что ветер не был ни довольно сильным, ни довольно ровным, чтобы держать паруса вполне надутыми. Когда Гаррисон был уже на полдороге, «Призрак» сильно накренился в одну сторону, а затем в другую, во впадину между волнами. Гаррисон остановился и крепко уцепился за снасти. Стоя в восьмидесяти футах под ним, я видел мучительное напряжение его мускулов, когда жизнь его висела на ниточке. Парус захлопал, и гафель стремительно повернулся. Фалы, на которых висел Гаррисон, ослабли, и

хотя это случилось очень быстро, я все-таки успел заметить, что они осели под тяжестью его тела. Затем гафель с резкой стремительностью качнулся в сторону, огромный парус хлопнул как пушечный выстрел, а три ряда сезней ударились о парус с шумом, подобным треску залпа из ружей. Крепко уцелившись, Гаррисон проделал головокружительный полет. Но ветер внезапно прекратился, и фалы сразу натянулись. Это походило на взмах кнута. Гаррисон был смят. Сначала сорвалась одна рука, за ней последовала, после краткого судорожного цепляния, другая. Его тело было сброшено, но ему все-таки удалось зацепиться ногами. Теперь он висел головой вниз. Сделав усилие, он опять дотянулся руками до фалов, но еще долго возился и извивался, пока вернулся в прежнее положение, скрюченный и жалкий.

– Держу пари, что у него не будет аппетита за ужином, – донесся до моего слуха голос Волка Ларсена, вышедшего из-за угла кухни. – Отойдите, эй вы, Иогансен! Смотрите! С ним начинается!

Гаррисону было действительно дурно, как бывает при морской болезни; и в течение долгого времени он висел на своем сомнительном нашесте без попытки пошевелиться. Тем не менее Иогансен продолжал свирепо понукать его, заставляя выполнять работу.

– Стыд какой! – услышал я ворчанье Джонсона, говорившего, как всегда, медленно, но на правильном английском языке. Он стоял под грот-мачтой, в нескольких шагах от меня. – Ведь малый старается! Он научится, если как следует учить его. А это простое... – Он остановился, потому что с его языка уже готово было сорваться слово «убийство».

– Тсс, с ума сошел! Ради своей матери попридержи язык! – зашептал ему Луис.

Но Джонсон продолжал ворчать.

– Послушайте, – обратился охотник Стэндиш к Волку Ларсену, – он мой гребец, и мне не хочется остаться без него.

– Правильно, Стэндиш, – ответил капитан, – он ваш гребец, пока он у вас на лодке, но он мой матрос, пока он здесь, и, черт возьми, я могу делать с ним все, что хочу.

– Но это не отговорка... – начал было Стэндиш.

– Довольно. Отойдите-ка лучше, – посоветовал Волк Ларсен, – я вам сказал, и кончено дело. Парень мой, и я велю сварить суп из него и съем, если мне захочется.

В глазах у охотника мелькнул сердитый огонь, он повернулся на каблуках и ушел в свое помещение, где и оставался, поглядывая оттуда наверх. Вся команда была теперь на палубе, и все глаза смотрели вверх, где человеческая жизнь боролась со смертью. Тупость и бессердечие этих людей, которым современный промышленный строй предоставил власть над жизнью других людей, ужасали меня. Мне, жившему вне житейского водоворота, никогда и на ум не приходило, что могла быть работа такого сорта. Жизнь казалась мне святыней, а здесь она не ценилась ни во что, была цифрой в коммерческих расчетах. Я должен, однако, сказать, что матросы все же проявляли некоторое сострадание, чему примером мог служить Джонсон, но «начальство» (охотники и капитан) было бессердечно равнодушно. Даже протест Стэндиша объяснялся только тем, что ему не хотелось потерять гребца. Если бы на мачте оказался гребец другого охотника, то и Стэндиш, подобно всем остальным, забавлялся бы этим приключением.

Но вернемся к Гаррисону. Прошло не менее десяти минут, пока Иогансен, все время оскорбляя и браня беднягу, не добился, наконец, того, что тот решился двинуться дальше. Он добрался до конца гафеля, где, сев верхом, почувствовал более прочную точку опоры. Он освободил парус и мог теперь, двигаясь по наклонной плоскости, вдоль по фалам, вернуться к мачте. Но у него окончательно ослабели нервы. Несмотря на всю рискованность своего положения, он боялся переменить его на еще более опасное на фалах.

Он взглянул на воздушный путь, который ему предстояло пройти, и потом вниз на палубу. Его глаза были широко открыты от страха. Я никогда раньше не видел на человеческом лице такого выражения страха. Он весь дрожал. Иогансен напрасно кричал ему, чтобы он спускался вниз. Каждую минуту его могло сбросить с гафеля, но он оцепенел от страха. Волк Ларсен, прогуливаясь по палубе и разговаривая со Смоком, не обращал на него никакого внимания, хотя раз и крикнул резко рулевому:

– Сбиваешься с курса, любезный! Осторожней, а то влетит!

– Есть, сэр! – ответил рулевой, повернув штурвал на две спицы.

Он был повинен в том, что уклонился на два-три градуса от курса, чтобы дать небольшому ветерку натянуть и держать парус в одном положении. Ему хотелось помочь этим несчастному Гаррисону, даже рискуя навлечь на себя гнев Волка Ларсена.

Время шло, и напряженное ожидание стало для меня невыносимым. А Магридж находил все это очень забавным: он высовывал голову из кухни и делал веселые замечания. Ах, как я ненавидел его! Моя ненависть к нему выросла вдесятеро во время этого ужасного происшествия! В первый раз в моей жизни я ощутил в себе потребность убийства, или, как говорят некоторые писатели, любящие живописные выражения, почувствовал «красный туман в глазах».

Жизнь вообще священна, но в частном случае, у Томаса Магриджа, она была оскверненной. Я ужаснулся, сознав в себе «красный туман», и подумал: «Не заразился ли я жестокостью в этой обстановке, я, который даже в самых ужасных судебных делах отрицал необходимость смертной казни?»

Прошло полчаса, и я заметил, что между Джонсоном и Луисом началось какое-то пререкание. Закончилось оно тем, что Джонсон отбросил от себя руку Луиса и двинулся вперед. Он перешел через палубу, ухватился за фок-ванты[23 - Ванты – снасти для бокового укрепления мачт. Фок-ванты – снасти, укрепляющие фок-мачту.] и начал карабкаться вверх. Но быстрый взгляд Волка Ларсена заметил его.

– Эй ты, куда лезешь? – закричал он.

Джонсон приостановился. Он взглянул прямо в глаза капитану и медленно ответил:

– Я хочу снять оттуда парня.

– Спускайся с вант, и притом живо, черт возьми! Слышишь? Сползай вниз!

Джонсон колебался, но долгие годы повиновения командирам на судах сломали его волю, он угрюмо соскользнул на палубу и пошел на бак.

В половине шестого я спустился вниз, чтобы накрыть на стол в каюте, но почти ничего не сообразил – мои глаза и мозг были отуманены видом бледного, дрожавшего человека, который смешно, точно клоп, цеплялся за раскачивающуюся снасть. В шесть часов, когда я подавал ужин и бегал через палубу за кушаньями в кухню, я все еще видел Гаррисона в одном и том же положении. Разговор за столом шел о чем-то постороннем. Казалось, никто не интересовался жизнью человека, по капризу подвергнутого опасности. Немного позже, пробегая по палубе, я с радостью увидел, что Гаррисон, пошатываясь, пробирался от вант к люку на баке. Он, наконец, набрался мужества и спустился вниз.

Чтобы покончить с этим происшествием, я должен привести отрывок из моего разговора с Волком Ларсеном в каюте, когда я мыл тарелки.

– Сегодня у вас был унылый вид, – начал он. – В чем дело?

Я видел, что он знал, почему мне было почти так же скверно, как Гаррисону, и что он просто хотел втянуть меня в разговор.

– На меня подействовало, – ответил я, – бесчеловечное обращение с матросом.

Он усмехнулся.

– Это нечто вроде морской болезни. Одни выносят ее, другие нет.

– Это не то, – возразил я.

– Именно то, – продолжал он. – Земля полна жестокости, как море движения. Одни болеют от первого, другие от второго. В этом вся штука.

– Вы смеетесь над человеческой жизнью... Неужели вы не признаете за ней никакой цены?

– Цены? Какой цены?

Он посмотрел на меня, и хотя его взгляд был неподвижен и упорен, мне почудилась в нем циничная улыбка.

– Какого рода цены? – продолжал он. – Как вы ее определяете? Кто оценивает?

– Я оцениваю, – был мой ответ.

– Так чему же она для вас равняется? Жизнь другого человека, я подразумеваю. Ну-ка, чего она стоит?

Ценность жизни! Как определить ее? Обычно находчивый в разговоре, я с Волком Ларсеном терялся. Впоследствии я решил, что это происходило отчасти от личных свойств этого человека, но больше всего от полного различия наших взглядов. С другими материалистами я находил общее, с ним же никакого общего пункта не было. Может быть, меня сбивала элементарная простота его ума. Он так прямо подходил к сути дела, отбрасывая ненужные подробности и высказывая окончательные суждения, что мне казалось, будто я барахтаюсь в глубокой воде, потеряв почву под ногами.

Ценность жизни! Как мог я сразу ответить на этот вопрос? Жизнь священна – это было для меня аксиомой. Что жизнь имела внутреннюю ценность, было для меня общим местом, которое я никогда не подвергал сомнению. Но когда он потребовал от меня защитить это общее место, я онемел.

– Мы говорили об этом вчера, – сказал он. – Я утверждал, что жизнь – фермент[24 - Ферменты – ускорители реакций, протекающих в клетках организмов.], нечто вроде дрожжей, нечто пожирающее другую жизнь, чтобы жить самой. Торжествующее свинство. С точки зрения спроса и предложения жизнь – самая дешевая вещь на свете. Количество земли, воздуха, воды ограничено, но жизни, желающей родиться, нет пределов. Природа расточительна. Взгляните на рыб и на мириады их зародышей – икру. Или посмотрите на себя и на меня. В нас лежат возможности миллионов жизней. Если бы мы нашли время и возможность использовать каждую крупницу нерожденной жизни, которая живет в нас, мы могли бы заселить материки и сделаться отцами народов. Жизнь? Ха-ха! В ней нет никакой ценности. Из всех дешевых вещей она – самая дешевая. Она бродит везде с мольбой о рождении. Природа рассыпает ее щедрой рукой. Там, где место для одной жизни, природа сеет их тысячи, и жизнь пожирает жизнь, пока не останутся самые сильные и самые свинские жизни.

– Вы читали Дарвина, – сказал я. – Но вы неправильно поняли, если сделали вывод, что борьба за существование оправдывает ваше своевольное разрушение

жизни.

Он пожал плечами.

– Вы, видимо, понимаете только человеческую жизнь, – сказал он. – Что же касается четвероногих, птиц и рыб, то вы истребляете их так же, как и я или всякий другой. Но человеческая жизнь ничем не отличается от жизни прочих животных, хотя вы в чем-то находите различие и думаете, что можете его доказать. Почему я должен беречь эту дешевую, ничего не стоящую вещь? На свете больше матросов, чем судов для них, и больше рабочих, чем фабрик и машин. Вы, живущие на суше, знаете, что хотя вы и размещаете бедноту на окраинах, обрекая ее на болезни и голод, все-таки остается множество бедняков, умирающих за неимением корки хлеба или куска мяса (то есть чьей-то разрушенной жизни), и вы не знаете, как с ними быть. Видели ли вы когда-нибудь доковых рабочих в Лондоне, как они, точно звери, дерутся из-за работы?

Он направился к трапу, но повернул голову для последнего замечания.

– Единственной оценкой жизни, знаете ли, будет та, которую она сама себе дает. И, конечно, всегда бывает переоценка, так как кто же ценит себя дешево? Возьмем этого человека, которого я послал наверх. Он цеплялся там, как будто он драгоценнейшая вещь, сокровище превыше бриллиантов и рубинов. Для вас? Нет. Для меня? Еще меньше. Для себя? Да. Но я не согласен с его оценкой. Он чрезмерно преувеличивает свою стоимость. Есть огромный запас жизней, желающих родиться. Если бы он свалился и его мозг разбрызгался по палубе как мед из сотов, то свет не ощутил бы никакой потери. Для мира он не представляет ни малейшей ценности. Он был ценен только самому себе, и насколько обманчива его собственная оценка видно из того, что, потеряв жизнь, он не мог бы осознать, что потерял самого себя. Лишь он один ценил себя превыше бриллиантов и рубинов. Бриллианты и рубины разбрызганы по палубе, и достаточно ведра воды, чтобы смыть их, а он даже и не почувствует, что бриллиантов и рубинов больше нет. Он ничего не теряет, потому что, потеряв себя, он утрачивает понятие о потере. Видите? Что вы можете на это сказать?

– Что вы, по крайней мере, последовательны. – Это было все, что я смог ответить, и продолжал мыть посуду.

Наконец, после трехдневных переменных ветров, мы поймали северо-восточный пассат. Я вышел на палубу, отлично отдохнув за ночь, несмотря на продолжавшуюся боль в колене. Я увидел, что «Призрак» летит точно на крыльях, вспенивая волны и распустив все паруса, кроме кливеров. О, изумительный пассат! Мы плыли день и плыли ночь, и следующий день, и еще следующий, и так день за днем, а ветер все время ровно и сильно дул нам с кормы. Шхуна неслась, не требуя забот. Не надо было тянуть снасти и перекидывать марселя; у матросов не было другого дела, кроме управления рулем. За ночь паруса несколько ослабевали от росы, а утром, высыхая, они снова натягивались, вот и все!

Десять, одиннадцать, двенадцать узлов – так увеличивалась скорость, с которой мы шли. И все время дул бодрый северо-восточный ветер, уносящий нас вперед на двести пятьдесят миль в сутки. Меня и огорчала и радовала та скорость, с которой мы удалялись от Сан-Франциско и неслись к тропикам. С каждым днем делалось заметно теплее. Во время второй дневной вахты матросы выходили на палубу, раздевались и поливали друг друга водой. Появились летучие рыбы, и по ночам вахтенные ползали по палубе в погоне за теми из рыбок, которые попадали на палубу. Томаса Магриджа задабривали взяткой, и утром по всей кухне распространялся приятный запах жареной рыбы. Иногда ели мясо дельфина, когда Джонсону удавалось поймать с бушприта[25 - Бушприт – наклонная мачта, укрепленная на носу корабля.] одного из этих сверкающих красавцев.

Джонсон проводил тут или наверху, на реях, все свое свободное время, наблюдая, как «Призрак» под напором пассата рассекал воду. В его глазах светились страсть и восторг. Он бродил как во сне, глядя в экстазе на надувшиеся паруса, пенившееся море и следя за свободным бегом судна по текучим горам, двигавшимся вместе с нами величавой вереницей. Дни и ночи – сплошное чудо и наслаждение, и хотя у меня оставалось немного времени, свободного от скучной работы, я все же выкрадывал случайные минуты и глядел, глядел на бесконечное торжество красоты, которая мне никогда раньше и не снилась. Вверху – безоблачное синее небо, синее как море, которое у носа корабля такого же цвета и блеска, как лазурный атлас. Над горизонтом – бледные, легкие облачка. Они не меняются, не двигаются – как бы серебряная оправка для чистой бирюзы небес.

Я не забуду одной ночи, когда вместо того, чтобы спать, я лежал на носу и смотрел вниз на игравшую всеми цветами радуги полосу пены, которую отбрасывал от себя «Призрак». Слышалось журчание, подобное шуму ручейка, бегущего по мшистым камням в тихой долине, и эта журчащая песня убаюкала меня и унесла далеко-далеко от самого себя. Мне казалось, что я и не Сутулый – каютный юнга, и не прежний Ван-Вейден, промечтавший тридцать пять лет жизни среди своих книг.

Меня привел в себя раздавшийся за моей спиной голос. Я не мог не узнать его. Это был голос Волка Ларсена, уверенный и сильный, но смягченный и растроганный теми прекрасными словами, которые он декламировал.

– О, пламенная тропическая ночь, когда след корабля, как сияющий пояс, держит горячее небо и когда упрямый нос его зарывается в глубину, усыпанную пылью звезд, где испуганный кит кидается в пламя. Палуба корабля покороблена зноем, милая девушка, и снасти его натянулись от росы, и мы несемся с тобою на всех парусах по старому пути, по нашему пути и вне пути. Мы клонимся к югу на старый, долгий путь, – путь вечно новый.

– Ну, Сутулый, – вдруг обратился он ко мне после внушительной паузы, достойной сказанных стихов и обстановки, – вас это не поражает?

Я посмотрел ему в лицо – оно сияло, как море, и глаза его сверкали при свете звезд.

– Меня поражает, что вы способны приходить в восторг, – сказал я холодно.

– Ну что же, человек, значит, бурлит! – воскликнул он. – Это – жизнь!

– Дешевая, не стоящая ровно ничего вещь, – бросил я ему его же собственные слова.

Он засмеялся, и в первый раз я услышал искреннюю веселость в его голосе.

– Ах, никак не могу добиться, чтобы вы поняли, никак не могу вбить вам в голову, что за штука жизнь. Конечно, вообще жизнь ничтожна, но для себя она драгоценна. И моя жизнь, могу сказать вам, как раз в эту минуту чрезвычайно

ценна для меня. Она сейчас выше всякой цены, что вы, конечно, поспешите назвать ужасающей переоценкой, но ничего не поделаешь: сама жизнь, бурлящая сейчас во мне, определяет себе цену.

Он остановился, как будто подыскивая слова для своей мысли, и затем продолжал:

– Знаете! Я переполнен странной радостью. Я чувствую в себе голоса столетий, как будто все силы в моей власти. Я знаю правду, различаю добро от зла, истину от лжи. Мой взор ясен и проникает в будущее. Я почти могу поверить в Бога. Но... – его голос изменился, и глаза потухли, – что же это за состояние, в котором я нахожусь? Радость жизни? Упоение жизнью? Или это вдохновение? Это просто то, что приходит, когда у человека хорошее пищеварение, когда желудок в порядке, аппетит хорош и все идет гладко. Это приманка жизни, шампанское в крови, брожение закваски... И одни люди полны святыми мыслями, другие видят Бога или же создают его, когда не могут видеть. Вот и все: опьянение, брожение дрожжей, бессвязный лепет жизни, опьяненной сознанием, что она жива. Ну да! Завтра я буду расплачиваться за все это, как пьяница после запоя. И я буду знать, что должен умереть, скорее всего на море, перестану копошиться в себе, чтобы закопошиться по-другому в общем разложении моря, стану падалью, пищей для других существ, чтобы сила и движение моих мышц сделались силой и движением в плавниках, в чешуе или в кишечнике рыб. Ладно! Довольно! Шампанское выдохлось. Нетуже искр и пузырьков. Осталась безвкусная бурда.

Он покинул меня так же внезапно, как и появился, спрыгнув на палубу с легкостью и мягкостью тигра.

А «Призрак» все шел и шел вперед. Я заметил, что журчание у носа было похоже на похрапывание, и по мере того, как я прислушивался к нему, впечатление, оставленное Волком Ларсеном с его бурным срывом от возвышенного вдохновения к отчаянию, медленно покидало меня.

Из середины корабля доносилось пение. Превосходный тенор бывалого матроса пел «Песнь пассата»:

Я – ветерок, приятный морякам,

Я ровен, свеж, могуч,

Они следят за мной по нежным облакам,

На юге нету туч.

Я день и ночь бегу за кораблем,

Как верный пес, разинув пасть.

Я легок по ночам, сильнее дую днем,

Вздуваю паруса, раскачиваю снасть.

Глава VIII

Иногда Волк Ларсен кажется мне сумасшедшим, или по меньшей мере полусумасшедшим, так дики его капризы и причуды. Иногда же я готов признать его за великого человека, за гения, какого никогда еще не было. А в конце концов я убежден, что он совершенный образец первобытного человека, родившегося с опозданием на тысячи лет, ходячий анахронизм в наш век торжества цивилизации. Он, несомненно, ярый индивидуалист. И еще больше: он очень одинок. Между ним и всеми остальными на шхуне нет ничего общего. Невероятная физическая сила и большой ум отделяют его от других. Все, даже охотники, – для него точно дети, и он обращается с ними как с детьми. Спускаясь до их уровня, он играет с ними как с щенками. А иногда он изучает и пытается их жестокими руками вивисектора[26 - Вивисекция – производство опытов над живыми животными, например, рассечение, прививка болезней кроликам и т. д.], роясь в их умственных процессах и исследуя их души, как бы для того, чтобы понять, из какого материала они сделаны.

Не раз я был свидетелем, как он за столом оскорблял то одного охотника, то другого, смотря на них холодным, пристальным взглядом. Он с таким любопытством следил за их поступками, ответами или гневом, что мне, наблюдавшему эти сцены в качестве постоянного зрителя и понимавшему Ларсена, становилось почти смешно. Его припадки ярости, по моему убеждению, были притворны; по-видимому, они служили ему для экспериментов, а главным образом, были той манерой обращения со своей командой, которую он считал необходимой для себя. За исключением случая с умершим штурманом, я ни одного раза не видел его по-настоящему разгневанным, да, признаться, и не

хотел бы видеть, как вся его сила вырвется наружу в подлинной ярости.

Что касается его причуд, я расскажу о том, что приключилось с Томасом Магриджем, и, кстати, покончу с тем случаем, о котором уже дважды упоминал мимоходом. Как-то раз после обеда, подававшегося обыкновенно в двенадцать часов, когда я закончил уборку каюты, Волк Ларсен и Томас Магридж спустились по трапу. Хотя у повара и был свой закоулок при каюте, но он не осмеливался бывать или даже показываться в самой каюте и только иной раз проскальзывал через нее как робкое привидение.

– Итак, значит, ты умеешь играть в «нэп», – обратился к нему Волк Ларсен веселым голосом. – Разумеется, как англичанин, ты должен знать эту игру. Я сам научился этой игре на английских кораблях.

Томас Магридж глупо сиял, радуясь, что капитан разговаривает с ним по-итальянски. Его ужимки и мучительные усилия походить на «воспитанного джентльмена» были бы глубоко противны, не будь они так забавны. Он совершенно не замечал моего присутствия, а может быть, не был уже и способен разглядеть меня. Его светлые, бесцветные глаза мерцали, подернутые влагой, как томное летнее море, и моего воображения не хватало представить себе, какие блаженные видения таились за ними.

Они уселись за стол.

– Достаньте карты, Сутулуй, – приказал Волк Ларсен, – принесите сигары и виски. Вы найдете все у меня в каюте, в ящике.

Я вернулся как раз в тот момент, когда Магридж прозрачно намекал, что с его рождением связана тайна, что он – сын «джентльмена», который не мог оставить семью, или что-то в этом роде. Он упомянул далее, что его нарочно удалили из Англии, хорошо заплатив ему за отъезд.

Я поставил рюмки для вина, но Волк Ларсен нахмурился и сделал мне знак, чтобы я принес стаканы. Потом я наполнил их на две трети неразбавленным виски – «напиток джентльменов», как выразился Томас Магридж, – и, чокнувшись в честь знаменитой игры «нэп», партнеры закурили сигары и принялись тасовать и сдавать карты.

Играли на деньги. Ставки росли. Игроки непрестанно пили и скоро опорожнили бутылку. Я принес вторую. Не знаю, шулерничал ли Волк Ларсен – он был способен и на это, – но, во всяком случае, он все время выигрывал. Повар несколько раз ходил к своей койке за деньгами. С каждым разом он все более фанфаронил, но все-таки не приносил больше нескольких долларов зараз. Наконец, он совершенно опьянел, стал фамильярничать и с трудом мог сидеть прямо и смотреть в карты.

– Да, у меня есть деньги, есть деньги. Говорю вам, я сын джентльмена...

Волк Ларсен не пьянел, хоть и пил виски стаканами. В нем не произошло никакой перемены. Его, видимо, даже и не забавляли выходки собутыльника.

В конце концов повар, громко приговаривая, что он может проигрывать как джентльмен, поставил на карту последние деньги и проиграл. После этого он опустил голову на руки и зарыдал. Волк Ларсен с любопытством посмотрел на него, как будто собираясь исследовать и анализировать его, потом передумал, увидев, что и исследовать-то здесь нечего.

– Сутулый, – вежливо сказал он, – пожалуйста, возьмите мистера Магриджа под руку и помогите ему выйти на палубу. Он не совсем хорошо себя чувствует. И скажите Джонсону, чтобы он освежил его несколькими ведрами холодной воды, – прибавил он вполголоса.

Я покинул мистера Магриджа на палубе, передав его на руки двум ухмылявшимся матросам. Мистер Магридж все еще сонно бормотал, что он сын джентльмена. Но, спускаясь по трапу, я услышал, как он закричал благим матом от первого ведра воды.

Волк Ларсен подсчитывал свой выигрыш.

– Сто восемьдесят пять долларов, – сказал он громко, – я так и думал. Этот нищий явился сюда без гроша в кармане.

– И то, что вы выиграли, сэр, – смело сказал я, – принадлежит мне.

Он удостоил меня насмешливой улыбкой.

– Сутулый, я в свое время изучал грамматику и думаю, что вы перепутали времена. Вы должны сказать: «принадлежало мне», а не «принадлежит».

– Этот вопрос не грамматики, а этики[27 - Этика – учение о нравственности.], – ответил я. Прошло около минуты, прежде чем он заговорил.

– Знаете, Сутулый, – начал он медленно и серьезно, с еле уловимой грустью в голосе, – я в первый раз слышу из уст человека слово «этика». Мы с вами здесь единственные люди, знающие его значение. Когда-то, – продолжал он после новой паузы, – я мечтал, что научусь говорить с теми, для кого обычен такой язык, что поднимусь с того низа, где родился, и буду общаться с людьми, разговаривающими о таких вещах, как этика. Сегодня я в первый раз услышал это слово. Но все это между прочим. Вы не правы. Это вопрос не грамматики и не этики, а фактов.

– Я понимаю, – сказал я, – факт тот, что деньги у вас.

Его лицо прояснилось. Казалось, он был доволен моей проницательностью.

– Но вы удаляетесь от сущности вопроса, которая относится к праву, – продолжал я.

– Ну! – пренебрежительно искривил он губы. – Я вижу, вы все еще верите в такие вещи, как право и бесправие.

– А вы? – спросил я. – Совершенно не верите?

– Нисколько. Право в силе, вот и все. Слабый всегда виноват. Быть сильным хорошо, а слабым – плохо, или, еще лучше, приятно быть сильным, потому что это выгодно, и отвратительно быть слабым, потому что от этого страдаешь. Обладать вот этими деньгами приятно. Так как я могу ими владеть, то я буду не прав к себе и живущей во мне жизни, если отдам их вам и лишу себя удовольствия пользоваться ими.

– Но вы несправедливы по отношению ко мне, удерживая их, – возразил я.

– Ничуть. Человек не может быть несправедлив к другому. Он может быть несправедлив только к себе. По моим взглядам, я всегда не прав, когда считаюсь с интересами других. Поймите, как могут быть не правы друг к другу две молекулы дрожжей, стараясь поглотить одна другую? В них заложена потребность поглощать и вложен инстинкт не давать себе проглатывать. Нарушая предписанное, они грешат, они не правы.

– Так, значит, вы не верите в альтруизм[28 - Альтруизм – поведение, бескорыстно направленное на пользу другим людям, в противоположность эгоизму. Понятие очень неопределенное, так как моралисты, исходящие из понятия альтруизма, не принимали во внимание классового момента в развитии социальных симпатий человека. Вне классовых же отношений социальные симпатии являются понятием неопределенным, расплывчатым.]? – спросил я. Слово это, видимо, было знакомо ему, хотя он погрузился в размышление.

– Позвольте, – сказал он, – это что-то относительно содействия другому, содружества? Не так ли? Что-то вроде кооперации?

– Ну, в некотором смысле, пожалуй, есть связь, – ответил я, не удивившись пробелам в его словаре: ведь он расширял его, также как и свои знания, путем чтения и самообразования. Никто не руководил его занятиями. Он много думал, но ни с кем не разговаривал.

– Альтруистическим поступком мы называем такой поступок, который совершается для блага других. Он бескорыстен, в противоположность поступку исключительно в своих интересах. Такой акт мы называем эгоистическим.

Он кивнул.

– Да, – сказал он, – я теперь припоминаю. Я читал что-то у Спенсера.

– У Спенсера! – воскликнул я. – Вы читали Спенсера?

– Немного, – признался он. – Я понял кое-что в «Основных началах», но на его «Биологию» у меня не хватило ветра для парусов; в «Психологии» я много дней напрасно бился при мертвом штиле. Никак не мог понять, к чему он вел. Я объяснил это своей умственной несостоятельностью, но потом решил, что это происходило от моей неподготовленности. Не было правильного подхода. Только

я да Спенсер знаем, как я мучился. Но из «Данных этики» я кое-что выудил. Там я встретился и с «альтруизмом», и припоминаю теперь, как этот термин применялся.

Что мог извлечь из «Этики» Спенсера такой человек, как Ларсен? Я достаточно помнил Спенсера и знал, что он считал альтруизм обязательным для высшего идеала человеческого поведения.

Очевидно, Волк Ларсен пропустил мимо ушей учение великого философа, откинув все, что было чуждо, и выбрав лишь то, что соответствовало его собственным нуждам и желаниям.

- А еще что вы у него нашли? - спросил я.

Его брови слегка сдвинулись от усилия выразить те мысли, для которых он никогда раньше не находил слов. Я почувствовал волнение. Я заглядывал в его душу так же, как он обычно заглядывал в души других. Я вступал на девственную почву. Странная, чрезвычайно странная область развевалась передо мной.

- Если сказать кратко, - начал он, - Спенсер рассуждает так: во-первых, человек должен стремиться к собственной пользе. В этом мораль и добро. Затем он должен работать на пользу своих детей. И, в-третьих, приносить пользу своей расе.

- А высшее, самое прекрасное и правильное поведение, - добавил я, - когда человек одновременно приносит пользу и себе, и детям, и расе.

- На этом я не настаивал бы, - ответил он, - не вижу ни необходимости, ни здравого смысла. Я отбрасываю расу и детей. Я ничем бы для них не пожертвовал. Это все ерунда и сентиментальность, по крайней мере для того, кто не верит в вечную жизнь. Будь бессмертие, альтруизм я считал бы выгодной сделкой. Я поднял бы свою душу до невероятных высот. Но, не видя ничего вечного, кроме смерти, и получив на краткий срок то брожение дрожжей, которое называют жизнью, я чувствую, что было бы совершенно безнравственно подвергать себя жертвам. Каждая жертва, лишаящая меня лишнего биения жизни, - глупость, и не только глупость, но и несправедливость к самому себе, - следовательно, злое дело. Я не должен терять ни одного глотка, ни одного

движения, если желаю использовать возможно лучше свое брожение. И вечная тишина, которая надвигается на меня, не будет ни легче, ни тяжелее от того, приносил ли я себя в жертву или проявлял свой эгоизм, пока я ползал на земле.

- Значит, вы индивидуалист и материалист, а следовательно, гедонист[29 - Гедонизм - наслаждение жизнью.].

- Громкие слова! - улыбнулся он. - Кстати, что такое гедонист?

Он одобрительно кивнул, выслушав мои объяснения.

- И кроме того, - продолжал я, - вы, значит, такой человек, которому даже в мелочах нельзя доверять, если к ним примешивается эгоистический интерес?

- Наконец-то вы начинаете понимать! - воскликнул он весело.

- Вы человек, совершенно лишенный того, что люди называют моралью?

- Вот именно.

- Человек, которого нужно всегда бояться?

- Совершенно верно.

- Так, как боятся обыкновенно змеи, тигра или акулы?

- Теперь вы знаете меня, - сказал он, - и знаете таким, каким вообще меня знают. Меня и называют Волком.

- Вы чудовище, - смело добавил я. - Калибан, ссылающийся на Сетевоса[30 - Калибан - чудовище в образе человека, выведенное в трагедии Шекспира «Буря» и в поэме английского поэта Роберта Браунинга, где Калибан противопоставлен светлому духу - Сетевосу.] и действующий по своей прихоти и капризу.

Он нахмурился при этом намеке. Видимо, он не понял, и я догадался, что он не читал поэмы про Калибана.

– Я как раз читаю теперь Браунинга, – признался он. – Это чтение довольно трудно для меня. Прочел я маловато, а уже запутался.

Чтобы не утомлять читателя, скажу только, что я тотчас же достал из его каюты книгу и прочел ему вслух «Калибана». Он был в восторге. Примитивное мышление и упрощенное отношение к вещам были вполне понятны ему. Он неоднократно прерывал меня своими комментариями и критикой. Когда я закончил, он заставил меня прочесть поэму во второй, а затем и в третий раз. Мы увлеклись спором о философии, науке, прогрессе и религии. Он выражался с угловатостью, свойственной самоучке, но с уверенностью и прямоотой первобытного ума. В самой простоте его доказательств была сила, и его материализм был несравненно убедительнее, чем хитросплетенный материализм моего друга Чарльза Фэрасета. Не то чтобы я, закоренелый или, по выражению Фэрасета, «прирожденный» идеалист, мог поддаваться убеждениям Волка Ларсена, но, несомненно, что он напал на последние твердыни моих верований с силой, которая возбуждала уважение, как ни были взгляды его чужды моим.

Время шло. Пора было ужинать, а стол еще не был накрыт. Я начал беспокоиться, и когда Магридж с хмурым, злым лицом заглянул в каюту, я собрался идти исполнять свои обязанности, но Ларсен крикнул ему:

– Повар, тебе придется похлопотать сегодня. Сутулый занят. Обойдись без него.

И опять произошло нечто неслыханное. В этот вечер я сидел за столом с капитаном и охотниками, в то время как Томас Магридж нам прислуживал и потом мыл посуду – новый каприз, калибановская прихоть Волка Ларсена, прихоть, от которой я предвидел много неприятностей. А пока мы говорили и говорили, раздражая охотников, которые не понимали ни единого слова.

Три дня отдыха! Три дня блаженного отдыха провел я с Волком Ларсеном. Я обедал за общим столом в кают-компании, ничего не делал, а только рассуждал с капитаном о жизни, литературе и законах Вселенной, в то время как Томас Магридж бесился, выполняя всю мою и свою работу.

– Берегитесь шквала, вот все, что я вам могу сказать, – предостерег меня Луис, когда я остался на полчаса один на палубе; Ларсен был занят улаживанием ссоры между охотниками.

– Никто не может сказать, что случится, – продолжал Луис в ответ на мою просьбу дать более точные объяснения. – Этот человек изменчив, как ветер в море. Вы никогда не угадаете его намерений. Вы думаете, что поняли его, и плавно плывете мимо него, а он круто обернется, налетит вихрем, и все ваши паруса, рассчитанные на хорошую погоду, изорвутся в клочки.

Итак, я не был особенно удивлен, когда на меня налетел шквал, предсказанный Луисом. Мы горячо спорили с капитаном, о жизни, конечно, и я, чересчур расхрабрившись, начал резко говорить о самом Вульфe Ларсене и его жизни. Я увлекся и стал выворачивать его душу наизнанку так же едко и основательно, как он делал это с другими. Один из моих недостатков – колкость речи, а тут я разнуздался и начал колоть и хлестать, пока все внутри у него не встало на дыбы. Его темно-бронзовое загорелое лицо почернело от гнева, глаза запылали. В них уже не было ясности и спокойного понимания – не было ничего, кроме ярости сумасшедшего. Я увидел волка, и притом бешеного.

Он с глухим ревом подскочил ко мне и схватил мою руку. Я попробовал вырваться, хотя внутренне дрожал. Однако его громадная сила была чрезмерной для моего сопротивления. Он схватил меня за руку ниже плеча, и, когда сжал свои пальцы, я закричал во все горло. Ноги у меня подкосились. Я не мог стоять, не мог выдерживать эту пытку. Мои мускулы отказывались служить. Боль была нестерпима. Мне казалось, что рука моя разможена.

Волк Ларсен, видимо, овладел собой. В его глазах блеснуло сознание, и он с коротким смехом, походившим на рычание, отпустил мою руку. Я от слабости упал на пол. Он сел, закурил сигару и стал следить за мной, как кошка следит за мышью. Пока я корчился, я подметил в его глазах удивление, вопрос и то недоумение, с каким он обычно глядел на непонятную ему жизнь.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Каюта на верхней палубе.

2

Поплавок из дерева, железа или меди сфероидальной или цилиндрической формы. Буи, ограждающие фарватер, снабжаются колоколом.

3

Колесо с ручками для вращения румпеля – рычага, поворачивающего руль.

4

Левиафан – в древнееврейских и средневековых преданиях демоническое существо, кольцеобразно извивающееся.

5

Старинная церковь St. Mary-Bow, или просто Bow-church, в центральной части Лондона – Сити; все, кто родился в квартале возле этой церкви, куда доносится звук ее колоколов, считаются самыми доподлинными лондонцами, которых в Англии в насмешку называют «соспеу».

6

Сардонический – желчный, злой, язвительный.

7

Верхняя палуба от бушприта до фок-мачты (то есть от носа корабля до первой мачты).

8

Мегафон – усовершенствованный рупор.

9

Фриско – сокращенное название города Сан-Франциско.

10

Марселя – средние (считая по вертикали) паруса на первой и второй мачтах (фок- и грот-мачта). Кливер – косой парус перед фок-мачтой (первой от носа корабля). Рифы берутся у парусов для уменьшения площади прямых парусов, захватывая часть парусов короткими веревками – риф-сезнями. Взятие рифов – очень трудный маневр.

11

Зюйд-ост – юго-восток, и ветер этого направления.

12

Парадокс – мнение, расходящееся с общепринятым, остроумная мысль, поражающая своей необычностью.

13

Билл Сайкс – грубый, жестокий вор – один из персонажей романа Диккенса «Оливер Твист».

14

Ют – верхняя палуба от бизань-мачты до кормы корабля (бизань-мачта – третья мачта от носа).

15

Пассаты – ветры, дующие между тропиками круглый год, в Северном полушарии с северо-востока, в Южном – с юго-востока, отделяясь друг от друга безветренной полосой.

16

Хакодате – город и порт в Японии на о. Иессо.

17

Ярд – английская мера длины, равная трем английским футам, равна 0,9144 м.

18

Джонка – китайское судно с широкой и высоко поднятой кормой.

19

Фальцет – высокий голосовой звук особого тембра.

20

Фок – нижний парус на фок-мачте.

21

Рея – горизонтальный брус, укрепленный поперек мачт.

22

Гафель – наклонный брус, упирающийся нижним концом в мачту. Фалы – снасти, поднимающие паруса.

23

Ванты – снасти для бокового укрепления мачт. Фок-ванты – снасти, укрепляющие фок-мачту.

24

Ферменты – ускорители реакций, протекающих в клетках организмов.

25

Бушприт – наклонная мачта, укрепленная на носу корабля.

26

Вивисекция – производство опытов над живыми животными, например, рассечение, прививка болезней кроликам и т. д.

27

Этика – учение о нравственности.

28

Альтруизм – поведение, бескорыстно направленное на пользу другим людям, в противоположность эгоизму. Понятие очень неопределенное, так как моралисты, исходящие из понятия альтруизма, не принимали во внимание классового момента в развитии социальных симпатий человека. Вне классовых же отношений социальные симпатии являются понятием неопределенным, расплывчатым.

29

Гедонизм – наслаждение жизнью.

Калибан – чудовище в образе человека, выведенное в трагедии Шекспира «Буря» и в поэме английского поэта Роберта Браунинга, где Калибан противопоставлен светлому духу – Сетевосу.

Купить: <https://tellnovel.me/ru/dzhek-london/morskoy-volk>

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)